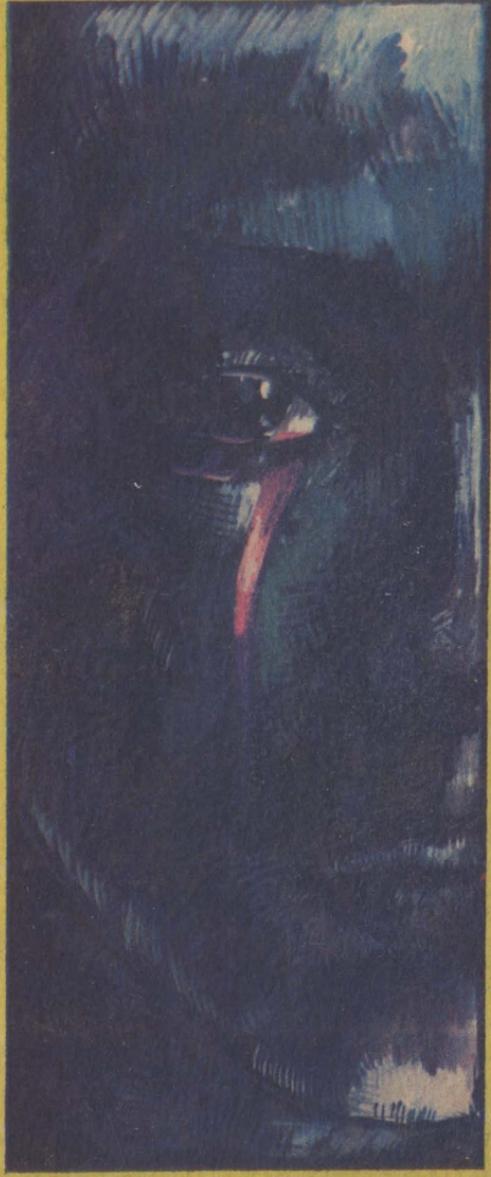




Юрий Мамлеев

УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ

Юрий Мамлеев **УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ** рассказы



Юрий Мамлеев
**УТОПИ МОЮ
ГОЛОВУ**
рассказы

Юрий Мамлеев
**УТОПИ МОЮ
ГОЛОВУ**
рассказы



МОСКВА
Объединение
"Всесоюзный молодежный
книжный центр"

художественная редакция "СТИЛЬ"

1990

ББК 84 Р7
М-224

Художник Сергей РАДИМОВ

Мамлеев Ю.В.

М-224 Утопи мою голову. Сборник рассказов. – М., Объединение "Всесоюзный молодежный книжный центр", 1990. – 224 с.

Юрий Витальевич Мамлеев родился в Москве. В 1975 году эмигрировал в США, так как его произведения не публиковались на Родине. На Западе проза Ю.Мамлеева была опубликована на нескольких европейских языках. Он стал членом международного Пен-клуба. С 1983 года живет в Париже. В сборник "Утопи мою голову" входят рассказы, написанные, в основном, до эмиграции. Художественный метод Мамлеева – сюрреализм (правда, в самом широком смысле этого слова).

Книга предназначена для широкого круга читателей.

М $\frac{4702010200-016}{022(01)-90}$ Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5-7012-0060-4

© Юрий Мамлеев, 1990

© Оформление. Объединение "Всесоюзный молодежный книжный центр", 1990

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед нами очередной сборник рассказов Юрия Мамлеева, русского писателя, проживающего во Франции. А ведь совсем недавно знаменитый художник М.Шемякин, приехавший в Советский Союз из США, с горечью говорил в своем интервью, что едва ли, при всех благоприятных переменах в жизни нашей страны и ее культуре, здесь скоро появятся произведения Юрия Мамлеева. М.Шемякин не только благодарный читатель Мамлеева, но и оформитель-иллюстратор его книг, что при громадной популярности упущенного нами в числе других крупных талантов графика немалая честь для любого автора. И вот не прошло двух месяцев со дня отъезда Шемякина, а "Книжное обозрение" опубликовало рассказы Мамлеева, и свершилось явление его народу. Именно явление, а не возвращение, как было с Аксеновым, Владимовым, Войновичем и другими, поскольку Мамлеев до своего вынужденного отъезда за кордон не печатался. Он много писал, был известен в дружеском кругу и, к сожалению, а может, к счастью для него, не только в этом тесном кругу. Его рассказы показались властям неуместными в стране тогда еще не зрелого, но уже победившего социализма, и ему предложили по-доброму катиться вон. Он уехал с женой в Соединенные Штаты, откуда перебрался во Францию. Все эти годы он жил трудно, свирепо тоскуя по родине. Но вернуться ценой того, чтобы писать, как правоверный соцреалист, не мог. Писал, как умел, боролся за жизнь. Выпустил несколько книг,

которые перевели на ряд европейских языков, в профессиональной среде занял почетное место. А читателей у него, как у всех писателей-эмигрантов, было не густо.

Иначе оказалось на Родине. Тут как-будто только и ждали, чтобы он где-то возник (отвечать за первопечатание никому не хотелось), и едва это произошло, накинулись, как мухи на мед. Телевидение, радио, "Литературная газета", Центральный дом литераторов, кооперативные издательства вбежали первыми на разминированное "Книжным обозрением" поле. И сразу появились читатели, что было ему всего дороже. Но не следует думать, что внедрение Мамлеева в советский рукав русской литературы прошло под такие же дружные аплодисменты, как выступление Егора Кузьмича Лигачева на XXVIII съезде партии. На встрече в ЦДЛ его спросили из зала с тем откровенным хамством, которое сейчас стало хорошим тоном у некоторой части советского общества и в литературе: уверен ли Мамлеев, что он писатель?

И прижав кулаки к груди, он ответил с той глубокой, чуть грустной и проникновенной серьезностью, которой и вообще защищается от грубости жизни:

— Я это знаю.

Он это, действительно, знает, как знают все, кто открыт самобытному и свободному творчеству. Сложность Мамлеева для нашего читателя в том, что он сюрреалист. Тем, кто не знает этого слова, кажется, что его способ писания — просто заумничанье, еыкаблучивание, нежелание говорить на обычном и понятном человеческом языке. Тем, кто слово это знает, он неприемлем, поскольку нас приучили, что нет в искусстве и литературе ничего хуже и срамнее.

Почему так получилось, не знаю, но до недавнего времени сюрреализм был в нашей официальной идеологии самым ругательным и клеймящим словом. Мы ненавидели и преследовали всё новое в искусстве, литературе и научном мышлении от импрессионизма до абстракционизма, от Джойса и Пруста до абсурдизма, от теории относительности и генетики до психоанализа и кибернетики. Но пожалуй, ничто не вызывало такого бешенства тюремщиков духа, как сюрреализм, разве что генетика с подачи народного академика Лысенко. Сейчас мы, кажется, прозрели и в этом, как во всех остальных заблуждениях незрелого, темного и агрессивного ума.

Да, Мамлеев сюрреалист, если обязательно нужно обозначить условным термином живую субстанцию того рода литературы, которым он занимается. Но убей меня Бог, если я понимаю, почему житейски правдоподобный рассказ "Сереза" об умирающем мальчике, которого никто не хочет отвезти в больницу, или пронзительно точный психологический рассказ "Не те отношения" – сюрреализм, а "Кавалер Золотой звезды" о колхозном рае – реализм да еще с приставкой "соц".

Да и нам ли сетовать на неправдоподобность, фантастичность, неумещаемость в привычных жизненных координатах произведений сюрреализма! Они куда ближе к действительности, куда реальнее, чем наша повседневность.

Мы все ткем из воздуха, изымаем солнечный свет из огурцов и, превзойдя достижения Лапутянской академии, добывавшей питательные вещества из экскрементов, превращаем в экскременты всё чудом уцелевшее на нашей разоренной земле: дары полей, лесов и вод, алмазы и золото, железо и медь, уголь и

нефть, детство, отрочество и юность, зрелость и старость, любовь и дружбу, честь, совесть и достоинство и даже великую идею перестройки.

А разве не сюрреализм, когда через всю страну мчались эшелоны, груженные ничем – воздухом, с надписью на вагонах "хлопок"? Как это страшно: со свистом, сквозь день и ночь, несутся поезда, светофоры сигналият им зеленым, путейцы козыряют с платформ, где-то их заботливо осматривают, простукивают колеса, смазывают, и снова поезд-птица прорезает пространство России, неся пустоту на своих осях. И так из года в год, и сотни, если не тысячи людей знают об этом – внизу и вверху, знают и молчат, охмуря друг друга и самих себя, а главный Лжец-отправитель крутит дырки в кителе для новой Золотой звезды и получает ее из трясущихся рук другого Обманщика и смахивает с крутой скулы слезу благодарности. Такое Мамлееву не снилось и в самых кошмарных сюрреалистических снах.

Под одуряющее хвастовство и рев фанфар, бесконечные победные реляции, под золотой дождь наград иссушались моря и озера, останавливались реки, засоливался чернозем и, убивая последнюю веру молодежи, бесцельно и тупо тянули нитку однокольежки по тысячеверстой зыбкой таежной пустынности. Я почему-то говорю обо всем этом в прошедшем времени, а ведь ничего не изменилось, кроме слов, не кончилось. Уничтожение жизни продолжается.

И никакой сюрреализм не может сравниться с последним съездом КПСС, где люди на глазах всей страны, всего света занимались душевным стриптизом, обнажая такие скверности беспредельного эгоизма, наплевательства на измученный народ, чьим именем привыкли клясться и прикрываться, такую

мещанскую приверженность к теплому месту, такую злобу, жестокость и невежество, что, глядя на экран, хотелось взмолиться: только бы дети этого не видели! Никакое порнографическое безобразие не могло бы оказать на юную душу столь растлевающего воздействия.

Мне хочется поговорить о том, как надо читать Ю.Мамлеева на примере рассказа "Утро", которого нет в сборнике. Я делаю это сознательно, ибо не хочу навязывать читателю этой книги своего толкования. Мамлеева можно читать по-разному, это не боевой устав пехотной службы и не классика соцреализма, не допускающие разночтения. Он оставляет читателю большую свободу выбора. Герой рассказа Василий Нилыч Кошмариков очень любил, когда умирали знакомые люди. Соседи по квартире знали его особенность: "Если Кошмариков начищенный ходит, все пуговицы пришиты – значит кто-нибудь из его знакомых помирает". Я взял рассказ "Утро", потому что слышал о нем: непонятно, жестоко, цинично. Ни то, ни другое, ни третье. Луи Селин писал о том, скольким людям за день желаем мы смерти, никак не сосредоточиваясь на этом душой: каждому, кто опередил нас в очереди, придавил в метро, наступил на любимую мозоль в автобусе, купил что-то, нам не доставшееся, обскакал на службе, вообще, получил любое преимущество. Мы желаем нашему ближнему: "А чтоб ты сдох!" вслух или мысленно вовсе не за глобальные провинности. И не надо думать, что это только словесный троп. В любом эмоциональном всплеске такого рода есть частица истинного чувства. Поэтому не стоит о цинизме. Или же признаем, что все мы понемножку Кошмариковы.

Я знаю людей, которые не пропустят ни одних

похорон своих знакомых и готовы примкнуть к любой похоронной процессии, и таких вот могильных болельщиков полно на любом кладбище. Они напоминают футбольных фанатов, для которых важен не футбол, а раскрепощение собственных дурных страстей. Они тоже от чего-то раскрепощаются. То ли преодолевая таким путем страх смерти, то пытаясь заглянуть в неведомое, но всем нам предстоящее. Человек играет со смертью в разнообразные игры: высокие и низкие, трагические и смешные. Тайна небытия никого не оставляет равнодушным, а если так, то почему бы не сконденсировать всё зловеще-комическое, что примешивается к трагизму конца, в образе коверного смерти Василия Нилыча Кошмарикова? Нам, единственным среди населяющих землю существ, даровано страшноватое преимущество знать о неизбежности смерти. Мы рождаемся с безжалостным приговором: обречен смерти. И каждому придется самому устраиваться с этим ужасным и непреложным знанием. Мы и устраиваемся, кто как может, но не любим, когда кто-то заглядывает в наше тайное тайных. Вася Кошмариков – наш бедный брат в человечестве спасается от страха смерти тем, что приучает себя к ней, вот откуда его нервно-веселое любопытство. Не этим ли объясняется всеобщая тяга к чтению некрологов, к уличным происшествиям, к стихийным бедствиям, если они грозят не нам. И ведь толпа злится, когда сшибленный машиной гражданин отделяется легким испугом. А следовало б радоваться. И выходит, что Вася Кошмариков – любой из нас, только избавленный от лицемерия. И может быть, если уж необходимо назидание: прочитавший рассказ в чем-то очистит свое отношение к смерти.

Но сам Юрий Мамлеев далек от назидания и наста-

вничества, без чего никак не может ни советская литература, ни советский читатель.

В одном из рассказов Мамлеев с обычной для него серьезностью и безулыбчивостью устанавливает стадийность смерти. Можно, оказывается, недоуметь, умереть, но не совсем, и некоторое время побывать в упырьевом полуживом роде, хотя есть и упыри-покойники. Настоящий вурдалак – это покойник, и его ночные странствия за человеческой кровью происходят как бы внутри смерти. И недоумершего вурдалака страшит образ вурдалака-мертвеца. Но ведь полупокойники водятся не только среди упырей, но и среди живых. Цельные снаружи, но вымершие внутри, они яростно и отвертительно цепляются за жизнь, губя порой истинно живых, в чьих жилах горячо и гулко бьется кровь. В рассказе можно открыть и социальный смысл, но я вовсе не настаиваю на таком его прочтении. Я настаиваю на другом: Мамлеева надо читать. И читать непредвзято, просто и доверчиво. И не надо бояться, что у него много смертей, покойников, полупокойников, вурдалаков, всяческой нежити. Литература – таинственное дело. Панибратствуя и развязничая со смертью, Мамлеев почему-то не противоречит утверждению Гете, что смерть – это самый красивый символ Творца.

Юрий Нагибин

МАКРОМИР

Вася Жуткин – рабочий парень лет двадцати трех – был существо не то что веселое, но веселье которого имело всегда мрачную целенаправленность. Он, например, улыбался, когда шел к зубному врачу. Улыбался, когда у него вычитали из зарплаты. Обычное же его состояние – было подавленное.

Когда он пробегал по улицам, все принимали его за среднего расторопного человека. Между прочим, он почему-то не различал события своей внутренней жизни от домов, то и дело попадающихся ему в городе. Правда, больше всего он не любил огоньки, особенно ночные, дальние, тогда все сливалось для него в один ряд, и он забывал, где он родился, кто он такой, и что с ним было. Плясать же Вася Жуткин, напротив, любил. Плясал он на обыкновенном полу, всегда один, только для видимости вознося руки в воздух. Прогуливался же после пляски он, наоборот, в парах и всегда молчком, тогда как в пляске любил спеть.

Последние года три пальтецо он носил одно и то же, грязненько-коричневое, но понравившееся ему из-за сходства с цветом его волос.

Мать свою он забыл сразу, как только приехал в город на работы из подмосковной деревни; помнил он только огромный, отяжелевший зад одной старой коровы, который ему почему-то всегда хотелось подбросить. Вообще, надо сказать, что все тяжелое, особенно живое, Вася Жуткин не терпел. Поэтому больше всего на свете он боялся слонов. Один раз он даже сбежал из зоопарка в пивную, чтобы забыться.

Жил он в рабочем общежитии, и все почему-то

считали его необычайно обычным человеком. Считалось, что он все время должен быть в пятнах.

Но действительность уже давно примелькалась ему. С ней, с действительностью, у Васи были самые холодные и странно-суровые отношения. Суровой даже, чем со своей любовницей, у которой он срезал на вечную память волосы и клал их около себя под левый кулак, когда, оглядываясь, обедал в шумной столовой.

К Богу у Васи было слегка шизофреническое отношение: не то чтобы он считал, что Бога не существует, но ему почему-то всегда хотелось плакать, когда он вспоминал о Боге.

Но как бы ни были банальны отношения Васи к отдельным элементам действительности, в целом к ней он относился причудливо, а, главное, — настороженно. Она казалась ему каким-то огромным блином, в котором стираются все грани. Ничтожное нередко превосходило великое. От этого Вася часто по-собачьи застывал, прислушиваясь в определенную сторону. Иногда ему казалось, что сквозь все предметы можно идти, как сквозь густой воздух и, таким образом, увязнуть в действительности, как в равномерном болоте.

Больше всего его смущало обилие людей. Они как бы вытягивали его из самого себя. Поэтому Вася часто пел.

Последнее время он взял привычку петь бегом.

Часто, поздним вечером, возвращаясь из магазина краяхой хлеба под мышкой, он, одинокий, бежал по темным улицам, оглашая пространство зычным пением.

Казалось, сама темнота шарахалась от него в сторону.

Приноровился также Вася Жуткин к математике. Оттого и поступил в вечернюю школу, в седьмой класс.

Нравилась ему математика нелепостью внешнего вида своих формул.

”Ишь, закорючки какие, — думал Жуткин, — а зато, говорят, сила в них живет немалая”.

Очень часто сравнивал он эти символы с живым, например, с собственными кишками.

Любовница от Васи под конец ушла. Остался только клок волос. Он по-прежнему клал его около левого кулака, когда садился есть в шумной столовой.

Всю субботу падал мокрый снег. Дальние огоньки города затерялись между хлопьями снега. Вася весь этот день бегал из стороны в сторону: то за колбасой скакал, то по переулкам песню пел, то кулаком на бегу махал. А в общежитии все время невозможно орал радиоприемник. В одних местах было очень светло, в других — слишком темно.

На следующий день, в воскресенье, Вася пошел в компанию. Это с ним бывало. Кроме него, там очутилось еще четыре человека — Миша, Петя, Саша и Гриша.

Еще не начали пить водку, как Васе захотелось выпрыгнуть в окно, с этажа. А этаж был десятый. Захотелось просто так, по-видимости, на спор, а, по существу, оттого, что он считал, что спрыгнуть с десятого этажа, что с первого — все равно.

Миша стал отговаривать его, но очень сухо и формально, поэтому на Васю это не оказало никакого влияния. Петя же так заинтересовался спором, что забыл про красную икру. Саша просто заснул, когда услышал, в чем дело.

Вася с присущей ему практичностью одел на себя два пальто, чтобы смягчить удар, и деловито, но по-темному, встал на подоконник. Петя даже испугался, что проиграет пол-литра, и пошарил в рваных карманах.

Миша, по-прежнему, довольно механически, отговаривал Васю прыгать. Ухнув, Жуткин полетел вниз и, когда летел, то не понял разницы в своем положении; правда, ему захотелось раскрыть рот и изо всех сил гаркнуть на всю вселенную, чтобы заглушить всеобщее равнодушие.

И вдруг Вася увидел слона, который выходил во двор и шел прямо к тому месту, куда он падал. Сердце его словно остановилось: больше всего на свете Васю озадачивали слоны...

Миша, Петя, Саша, посмотрев из окна на мертвого Васю, сели за стол. Но мы забыли про Гришу. Он спустился вниз, чтобы вызвать милиционера и прекратить это безобразие.

МИСТИК

Этот дворик расположен на окраине Москвы, на узенькой, деревянно-зеленой улочке, которая сама кажется маленьким, отрешенным городком. Изредка по ней пронесется Бог весть откуда и куда пыльный, громяхающий грузовик. На дворике, под серым, изрезанным ножами кленом, приютился тихий, уютно-грязненький уголочек с деревянным, покосившимся столом и скамейками.

Летним вечером, когда с нависающих крыш и чердаков двухэтажных дворовых домиков сыплется

пение и визг котов, в уголочек тихо и достойно себе направляется Паша, здоровый, 40-летний мужчина с отвислым, как губы, животом.

Здесь, собрав народ, он, не торопясь, обстоятельно начинает свой длинный, смачный рассказ о загробной жизни, о том, как он побывал на том свете.

Слушать его приходят издалека, даже с соседских улиц. Некоторые приносят с собой миски с едой, платки, располагаясь прямо на траве. Одна грудастая женщина приходит сюда с годовалым ребенком на руках и, несмотря на то, что он вечно спит, всего поворачивает его лицом к рассказчику.

Рассказывает Паша обычно полуголый, в одной майке и штанах, так что видна его волосатая, щетинистая грудь; из кармана вечно торчит сухая вобла. Его ближайшие поклонники: два-три инвалида, сухонькая старушка в пионерском галстуке и угрюмый наблюдательный рабочий, — цепочкой сидят около него, отеснив остальных. Какой-то очень рациональный старичок в очках что-то записывает в кучки лохматых, комковидных бумаг.

И только перед самым началом из окна ближайшего дома появляется томная, худенькая фигурка Лидочки — местной, дворовой проститутки и самой первой почитательницы Пашиных загробных рассказов. У нее странное, забрызганное не то грязью, не то мочой, платье, томительные, точно ищущие Божество в небе глаза и пыльный, детский, из придорожных усталых ромашек венки на голове.

Паша оборачивает к ней свою грузную, отяжелевшую от дум голову и губами манит ее. Во весь плеск своих 19 лет Лидочка бежит к Паше.

Местные угрюмые, толстые, как лепешки, женщины уже привыкли к ней и, несмотря на то, что она

гуляет с их мужьями, задушевно и глубоко любят ее. Любят потому, что мужья будут все равно изменять им или даже спать с собственной тенью как длинный лопухий мужик со второго этажа, а если бы не Лидочка и ее романы, женщинам не о чем было бы говорить длинными, пятнистыми вечерами. Ведь кроме загробных рассказов Паши, единственной отдушиной местных баб были их долгие, крикливые разговоры о похождениях Лидочки; эти разговоры чаще начинала та женщина, чей муж в данное время гулял с Лидочкой, и она обстоятельно, подробно, с увлечением рассказывала, сколько денег пропил ее муж с Лидочкой, сколько кастрюль ей подарил, сколько гвоздей.

Это было очень интересно, поэтому женщины принимали Лидочку.

Лидочка пробиралась между скамеек и ложилась обычно на землю, у ног Паши, лицом к небу.

После проституции ее любимым занятием было глядеть на далекие облачка в небесах... Тогда Паша, откашлянув, начинал говорить – сначала, от стеснительности, себе в руку, а потом все громче и громче:

– Дело это было в аккурат под пятницу... По ошибке я попал на тот свет... Потом ошибку признали, и я вынырнул обратно.

В этот момент Паша осторожно вынимал из штанов вяленую воблу и начинал ее понемножечку обнюхивать.

– Интереснейшая, я вам скажу, эта страна, загробный мир, – продолжал он. – Все там не так, как у нас. Сначала я было перепугался; как дите неразумное пищал, не зная, что делать... Плохо там, что со всех сторон, куда ни пойдешь, яма... Большая такая, как Млечный путь... С которого бока ни зайди, все по краю ходишь... Но потом ничего, попривык... Насчет

баб там, девоньки, ни-ни... Потому что нечем... Все там вроде как бы воздушные. Но любить можно кого хочешь... Потому что любят там за разговорами... Если кто друг в дружку влюблен, то просто сидят и цельными временами разговаривают между собой всякую всячину... Вот и вся любовь... И некоторые говорят, что лучше, чем у нас...

В этом месте обычно окружающие Пашу бабоньки, старушки охают и начинают причитать.

– Ужаси, – все время повторяет сухонькая старушка в пионерском галстуке.

– Если кто уж очень сильно втрескается, – оживляется Паша, – то на это пузырь есть... Из глаз любящих он отпочковывается и поглощает их в единый колобок. Но там они все равно в отдалении... По духовному... Только от остальных пузырей огорожены...

Вдруг глаза Паши заливаются звериной тоской, и он начинает поспешно кусать воблу.

– Ты что, Паша? – робко спрашивают его.

– Друга я там потерял, – пусто ворчит он в ответ, – только во сне иногда мне является... Дело было так. Захотел я первым шагом, как туда попал, папаню с маманей разыскать. И деда. Но куда там! Людей видимо-невидимо! И не поймешь, не то светло, не то темень! Луны, солнышка и звезд – ничего нет. Только яма везде увлекает. Ну, вестимо, загрустил я, даже повеситься захотелось, бредешь, бредешь, и все по людям, и все мимо людей... А куда бредешь – не поймешь... Как среди рыб... Но тут подвернулся мне толстый, хороший мужчина. Ентим, вавилонянином оказался... А по профессии банщиком... Пять тысяч лет назад помер... Очень он мне чего-то обрадовался... Заскакал даже от радости... Отошли мы с ним куда-то

вверх и завели разговоры. Рассказывал он мне, как помер; а помер он от цирюльника... Больно плох топор был для бритья, вот от этого дела он и скончался...

На дворе становилось тихо-тихо, как на собрании при объявлении крутых мер. И так продолжается час, полтора. Иногда только какая-нибудь старушка отгонит нахального мальчишку.

Наконец Паша кончает. Первой встает Лидочка. Ее глаза полны слез. Она поправляет венок у себя на голове и берет Пашу за руку.

Единственный, кому Лида отдается бесплатно, — Паша. И слезинки на Лидочкиных глазах — это маленькие хрусталики, прокладывающие путь к сердцам Паши и высших существ.

Когда все успокаиваются, Лидочка берет гитару и, усевшись на стол, поет блатные песни.

Наконец начинает темнеть. Первыми уходят Паша с Лидочкой.

Они идут в обнимку — безного переваливающийся пузатый мужчина и худенькая, стройная девочка в обмоченном платье.

Старушки смотрят им вслед. Им кажется, что над Лидиным венком из усталых ромашек пылает тихое, затаенное сияние.

— Святая, — часто говорят они про нее.

Лидочка любит Пашу и его рассказы. Правда, однажды она обокрала его на пустяковый денежно, но дорогой для Паши предмет: старую нелепую чашку, оставшуюся ему от деда. Но Лидочке так хотелось купить себе новые туфли, а не хватало нескольких рублей...

...Все наблюдают, как они исчезают в темной дыре подвала, исчезают, прижавшись друг к другу — как листья одного и того же дерева... Потом расходятся остальные.

УЛЕТ

Существую я или не существую?! – взвизгнул невзрачный, но одухотворенный человечек лет тридцати пяти, и по заячьи нервно заходил по комнате. От умственного шныряния вены на лбу у него вздулись. ”Вроде существую”, – пискнул он, хлопнув себя по заднице. Потом подошел к шкафу и с плотоядным наслаждением, трясаясь, выпил мутную брусничную воду из грязной чашки. Минуты две улыбался, а потом вдруг опять вспыхнул: ”И в то же время не существую!” И пнул ногой угрюменький чайник. Потом Анатолий Борисович (так звали героя) выскокчил в коридор.

– Хамье, перед глазами снуёте! – прикрикнул он на соседей, которые боялись Анатолия Борисовича из-за его робости.

Ему вдруг захотелось завернуться в одеяло и долго, комком, кататься по полу. ”Какой-то я стал воздушный и как будто все время утекаю”, – подумал Анатолий Борисович.

– Побольше реальности, побольше реальности! – провизжал он вслух себе, соседям и кому-то Неизвестному.

Последнее время что-то в нем надломилось. Это уже был не тот Анатолий Борисович, который мог бороться и быть возвышенным. Ему все стало загадочным. Загадочным и то, что он женился, и то, что ему тридцать пять лет, и то, что он родился в России, и даже то, что над ним висит, куда бы он ни пошел – небо.

”Определенности никакой нет, – решил он, – и точно меня все время смывает. Как бы совсем не сдуло”.

”Странное существо моя дочка, – думал Анатолий Борисович, проходя по темно-змеиному горлу выходной лестницы. – Бьет меня по морде. А когда я ее бью по заднице, – никак не пойму, хорошо мне от этого или плохо?”

Подойдя, вместо двери, к нелепой дыре, ведущей в серое, Анатолий Борисович увидел над ней лампочку.

”Надо бы ее проучить”, – подумал он и швырнул туда камень. Лампочка разбилась. ”На сколько минут мне будет легче от этого?” – обратился он к своему внутреннему голосу.

Наконец Анатолий Борисович выскочил на улицу. На мгновение ему показалось, что все, что он видит – фикция. ”Юк-юк”, – довольно пискнул он в ответ. ”И все-таки я не существую”, – подумал он всем своим существованием и подошел выпить воды. Потом все стало на место.

”Как складывалась до сих пор моя жизнь, – рассуждал он, делаясь все незаметней. – Был период – я играл в карты. Тогда я был счастлив. Был период величия. Без него я не прожил бы дальше”. Анатолий Борисович ускорил шаг и шел прямо по улице навстречу ветру.

”Утекаю я куда-то, утекаю, – думал он. – О, Господи!”

Мир давил своей бессмысленностью. ”Это потому что он меня переплюнул, отсюда и его бессмысленность, – решил он. – Даже столб, неодушевленный предмет, и тот меня переплюнул”.

Анатолий Борисович углублялся в город.

Все казалось ему абстрактным: и высокие, уходящие в засознание, линии домов, и гудки машин, и толпы исчезающих людей. А собственная жизнь

казалась ему еще худшей, еле видимой, но настоящей абстракцией.

”Реальности никакой не вижу”, – слезливо подумал он и хотел было хлопнуть в ладоши.

Наконец Анатолий Борисович подошел к разношерстному зданию своей службы; юркнул мимо толстых тел, за свой стеклянно-будничный столик.

Кругом сновали разухабистые, в мечтах, рожи, трещали машинки, а перед Анатолием Борисовичем лежала груда бумаг. Ему казалось, что все эти бумаги говорят больше, чем он.

Анатолий Борисович подошел к окну.

”А вдруг ”сбудется, сбудется”, – закричалось у него в глубине. – Должно ”сбыться”, должно, – не навсегда же таким он создан. Тихонько, растопырив ушки, Анатолий Борисович прислушался. Ничего не услышав, сел за столик, и почувствовал, что вся его жизнь – как урок геометрии.

”Каждый предметик: стульчик, чернильница – далекий и как теоремка”, – подумал Анатолий Борисович. Все входили, уходили и были за чертой.

Вскоре Анатолий Борисович вышел. И больше уже не приходил. А через месяц следователь Дронин в деле на имя Анатолия Борисовича поставил последнюю и единственную запись: ”бесследно исчез” и захлопнул папку.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Ты будешь кушать эту подгоревшую кашу? – спросила пожилая, в меру полная женщина своего мужа.

Муж что-то ответил, но она сама стала есть эту кашу. Ее звали Раиса Федоровна.

— Что я буду делать сегодня, как распределю свой день, — подумала она. — Во-первых, пойду за луком.

Она представила себе, как идет за луком, представила хмурые, знакомые улицы и говорливых, таинственных баб, и сосульки с крыш — и ей ужасно захотелось пойти за луком, и на душе стало тепло и интересно.

— А потом я вымою посуду и полежу, — мелькнуло у нее в голове.

— Сына пожалей, — пробормотал ее муж.

Но он очень любил жену и поцеловал ее. На минуту она почувствовала тепло привычных губ.

— Вечно стол не на своем месте, — решила она и подвинула его влево.

Затем она пошла в уборную и слышала только стук своего сердца. Потом, выйдя на улицу, она встретила своего двенадцатилетнего сына; он шел из школы, кричал и не обратил на нее внимания. Раиса Федоровна, зайдя на рынок, медленно закупала продукты, переходя от лавки к лавке. Около нее ловко суетились, толкая друг друга, покупатели, протягивая свои рубли, оглядывая продукты полупомешанным взглядом.

— Вы опять меня обворовали, — услышала Раиса Федоровна голос и почувствовала, как ее тянут за живую кожу пальто. Тянула соседка.

— Препротивная женщина, — тотчас заговорила, оглядывая Раису Федоровну, толстая старуха в пуховом платке. — Скандалистка. Я жила с ней один год и не выдержала. Прямо по морде сковородкой бьет...

— Ужас, — вторила ей другая. — Я в таких случаях всегда доношу в милицию.

– Как же я распределю теперь свои деньги, – думал Раиса Федоровна, возвращаясь домой. – Тридцать рублей я этой дуре отдам... А сегодня пойду в кино.

В переулке, по которому она шла, было светло и оживленно и люди напоминали грачей. Но ей почему-то представилось, как она будет ложиться спать и посасывать конфетку, лежа под одеялом.

И еще почему-то она увидела море.

Войдя в квартиру, она услышала голос соседки, доносившийся из кухни:

– Помыть посуду надо – раз; в магазин сходить – два; поесть надо – три.

– Мы все ядим, ядим, ядим, – прошамкала живехонькая старушка, юркнувшая с пахучей сковородкой мимо Раисы Федоровны. – Мы все ядим.

– Я уже два часа не ем, – испуганно обернулась к ней белым, прозрачным лицом молодая соседка.

– Я Коле говорю, – раздался другой голос, – не целуй ты ее в живот... Опять все у меня кипит.

– Ишь, стерва, – буркнул кто-то вслед Раисе Федоровне.

– Почему, она неплохая женщина.

– ...Утопить бы кого-нибудь, – подумала Раиса Федоровна. – Ах, чего же мне все-таки поесть... Утку.

И она почувствовала, что на душе опять стало тепло и интересно, как было давеча, когда она представляла себе, как идет за луком. И опять она увидела море.

В углу комнаты ее муж убирал постель. Повертевшись около него, она опять вдруг захотела в уборную. В животе ее что-то глухо заурчало, и жить стало еще интересней. Она ощутила приятную слабость, особенно в ногах:

– Как непонятна жизнь, – подумала она.

Она посмотрела на красный, давно знакомый ей цветок, нарисованный на ковре. И он показался ей таинственным и необъяснимым.

Раиса Федоровна вышла в коридор и вдруг почувствовала сильную боль в сердце; вся грудь наполнилась каким-то жутким, никуда не выходящим воздухом; тело стало отставать от нее, уходит в какую-то пропасть.

В мозгу забились, точно тонущее существо, мысль: "Умираю".

– Умираю! – нашла она силы взвизгнуть.

В кухне кто-то засмеялся.

– Умираю, умираю! – холодный ужас заставлял ее кричать, срывая пустоту.

В коридор выскочили муж, сын; из кухни высыпали соседи и остановились, с любопытством оглядывая Раису Федоровну. Крик был настолько животен, что во дворе все побросали свои стирки, уборки и подошли к окну.

– Ишь, как орет, – пересмеивались в толпе. – Точно ее обсчитали в магазине.

– Да, говорят, умирает, – отвечали другие.

– Если б умирала, так бы не драла глотку, – возразил парень в кепке.

Кто-то даже швырнул в окно камень.

Сынок Раисы Федоровны стоял у другого окна, поглядывая на умирающую мать.

– Чего она так кричит, – подумал он. – Ведь теперь меня засмеют во дворе.

...А через несколько дней толстая старуха в пуховом платке, та самая, которая ругала Раису Федоровну на рынке, говорила своей товарке:

– Померла Раиска-то, говорят, так орала, весь двор переполошила.

БОРЕЦ ЗА СЧАСТЬЕ

В Москве, среди ровненько-тупых домов-коробочек, в трехсемейной квартирке жил-затерялся холостяк, молодой человек лет двадцати восьми, Сережа Иков. Работал он сонно и хмуро в каком-то административном учреждении бюрократом, то есть подписывал уже подписанные бумаги. Было это существо лохматое, с первого взгляда даже загадочное, вопрошительное. Был он страшно деловит, но ничего не делал, очень самолюбив, но безответно.

Самое большее, к чему всю жизнь стремился Иков, что составляло единственный, лелеемый предмет его мечтаний, называлось счастьем. За счастье Сережа все был готов отдать. Его странная, не от мира сего, напористость в этом отношении даже отпугивала от него людей. Соседка-старушка, одна из немногих, с кем Сережа делился своими тайнами, в душе считала его слегка ненормальным.

”На кой хрен тебе счастье, — опасливо говорила она ему, кутаясь в платок. — Смотри, Сергунь, как бы беды не было”.

”Счастье — это очень много, — говорил Иков. — Но это также то, что делает меня великим”. Но оно как-то плохо ему давалось. Хотел жениться — женился, но через год развелся; хотел стать ученым — но стал бюрократом; хотел совершить подвиг — совершил, но оказалось, что в этом не было счастья. Наконец он на все махнул рукой и стал как бы проходить сквозь события.

”Вроде деловой, а ничего не делает, — пугалась соседка-старушка. — Делает — все себе на уме”.

Но прежних своих стремлений к счастью Иков не оставлял. Однако из-за вечности неудач, они прио-

брели некий потусторонний характер. Однажды он повесил в своей комнате огромную репродукцию Шишкина. "Светится она на меня, — подумал он. — Вроде я теперь и велик и счастлив".

Неизвестно, как бы дальше продолжалось его развитие, если бы года три назад не произошел в его жизни переворот. Случайно он открыл ключи к счастью. Произошло это в зимний, январский день. Иков сдавал экзамены в заочном педагогическом институте, на литературном отделении. Сережа готовился долго, истерически прикрывая голову подушками, завывая. Сдал он на отлично. Отяжелевший от важности доцент пожал ему руку. Выбежал Иков на улицу, упоенный, взвинченный, счастливый. Размахивал руками. И тут пришла ему в голову молниеносная, радостная мысль: а что если всю жизнь так. Всю жизнь сдавать одни и те же экзамены и радоваться.

Поблуднев, чувствуя, что в нем происходит что-то большое, огромное, Иков для сосредоточенности решил зайти в безлюдную пивную. Там, за кружкой пива, лихорадочно пережевывая хлебные палочки, внутренне теряясь, он стал обдумывать детальные планы будущей жизни.

Временами он подозрительно оглядывал случайных людей, как бы опасаясь, что они сопрут ключи счастья.

Иков решил воспользоваться тем, что его дядя — величина в научных кругах.

"Я поступлю так, — броско подумал он, заказав еще одну кружку пива. — В зимнюю сессию и особенно в летнюю буду оставлять много хвостов и в конце приносить справку о болезни. Институт заочный. Меня оставят на второй год и я опять по положению

буду сдавать почти те же экзамены. И так далее. На каждом курсе лет по пять, чтобы растянуть. А там видно будет”.

С этого дня Иков зажил новой, сказочной жизнью. Картину Шишкина он убрал. Теперь его жизнь разбилась на две половины.

В первой половине, до сессии, он был тих, как мышка, осмотрителен, так как жизнь теперь имела глубокий смысл, боялся попасть под трамвай. Время он проводил на работе – аккуратно, исполнительно и затаенно. Только дома иногда пугал соседку-старушку своим преувеличенным мнением о значении счастья в жизни людей.

Зато во второй половине, во время сессии, Иков расцветал.

Сейчас, уже четвертый год, Иков учится не то на первом курсе, не то на втором, неизменно сдавая одни и те же предметы. В деканате махнули на него рукой, но считаются с его дядей.

Каждый раз, после сдачи экзаменов, его сердце замирает от восторга, когда в синенькую, с гербом, книжицу властная рука учителя ставит неизменную оценку ”отлично”. Ему кажется, что вся профессура смотрит на него. ”Ишь, какой начитанный”, – шепчут про него студенты и не сводят завистливых глаз.

Несколько раз Икову после сдачи слышалось пение.

Во дворе все знают, когда он возвращается с экзамена. Веселый, бойкий, поплеывая по сторонам, он входит в ворота. Иногда даже игриво даст щелчка пробегающему малышу.

– Далеко пойдет. Боевой, – шепчут о нем старушки.

СВОБОДА

В Измайлове, на асфальтно-зеленой улочке, расположились веселые, полные людей, домишки. Целые летние дни воздух здесь напоен лаем собак, последними вздохами умирающих, криком детей и туманно-тупыми мечтами взрослых. Все здесь происходит на виду, все мешают друг другу, плачутся, и вместе с тем каждый сам по себе.

В одном из этих домишек живет пожилая, полуинтеллигентная одинокая женщина – Полина Васильевна. Вместе с ней – три кошки, и во дворе, в конуре – пес, обыкновенная дворняжка: Кварталов за шесть живет и ее дочка с мужем.

Сегодня, в воскресенье, – все семейство в сборе и комнатуха Полины Васильевны забита людьми и животными. Уже второй час идет обед. Обедают молча, задумываясь, но иногда высказывая что-нибудь пугающе-многозначительное.

Полина Васильевна иной раз отложит ложечку и юрко ртом ловит мух, делая точно такие же движения, какие делают в таких случаях собаки.

– Люблю повеселиться, – виновато говорит она зятю. – Другой раз сидишь себе так смирихонько, накушавшись, работа сделана, всем довольна, но вроде чего-то не хватает. Я всегда тогда мух ртом ловлю. Наловишься, и как-то оно на душе спокойней.

– Кушайте, мамаша, кушайте, – сурово отвечает зять.

Кроме работы, он никак и нигде не может найти себе применение; поэтому свое свободное время он воспринимает как тяжкое и бессмысленное наказание. "Ишь, стерва, – с завистью думает он о теще. –

Мне бы так. Наглотается мух и всегда какая-то ошастливленная”.

Он прибауточно-остервенело таращит глаза на Полину Васильевну. У нее мягко-аппетитные черты фигуры, побитое, с некоторой даже грустью, но очень спокойное выражение лица, какое бывает, пожалуй, у мудрецов к концу их жизни.

— Вон те, и солнышко в аккурат выглянуло, Галина, — говорит Полина Васильевна дочери. — И лапша моя на подокошке нагрелась. В кухню не надо идти.

Галина, здоровая баба лет тридцати, ничего не отвечая, остервенело ест.

По ее сочно-помойному лицу, как суп, льется пот.

Ко всему на свете, к отдыху, к любви, даже ко сну она относится как к серьезной и продолжительной работе; ее интересуется быстрейшее достижение цели, хотя цель — сама по себе — ее редко когда волнует. Поэтому она ест сурово, напряженно, заняв, вместе со своими локтями, полстола, и выражение лица ее не различишь от супа.

Полину Васильевну слегка раздражает молчание дочери. “Ты хоть слово, а пискни, — думает она. — Хоть слово. Потому что ты среди людей, а не среди туш”. Она обращается за выручкой к зятю.

— Молоко вчерашнее у меня попортилось, Петя, — повторяет она ему. — Не пойму, мурка лизнула или дождик накапал. Кап-кап, дождик.

Полина Васильевна икает от удовольствия.

— Само порчено, — деловито брякает зять.

От этих собеседных слов Полина Васильевна совсем растаивает. Она, как кошка, утирает лицо, но не лапкой, а платочком, и продолжает:

— В позапрошлом году у Анисьи репа поспела...

Хорошо... Ик... А во время войны и гражданской революции я любила репу с картошкой кушать... Ик... Сейчас надо кошек почесать, а чаевничать потом будем.

Обед кончен. Галина бросает есть резко, как будто с неба грянул гром; и также деловито и размашисто плюхается на кровать – баиньки. Сразу же раздаётся ее устойчиво-звериный храп. Петя же, окончив обед, стал еще оглушенней.

Чувствуется, что он так устал от свободного времени, что взмок. Пройдет еще час, и он наверняка не выдержит: начнет материться. Матерится Петя от страха; особенно пугают его свободные мысли, временами, как мухи, появляющиеся у него в мозгу. Одна Полина Васильевна покойненька: почесав кошек, она юрко, чуть вприпляску, собирает в миску остатки еды и несет ее в конуру – собаке.

Пока пес, виляя хвостом, судорожно грызет пищу, Полина Васильевна, опустившись на корточки, разговаривает с ним. Ей кажется, что пес – это самое значительное существо в мироздании; и что каждый не накормивший его человек – преступник.

А в далекой юности, когда она была религиозна, она почему-то представляла себе Высшее Существо в виде большой, с развесистыми ушами, собаки.

– Умненький ты мой, – дико кричит она своему псу. – Кушай и облизывайся... Педагог...

Наконец Полина Васильевна издает животом какой-то уютный, проникающий в ее мозг, звук, и с теплыми глазами бредет обратно...

Дома Петя кулаком будит жену.

– Материться начну, – дышит он ей в лицо. – Удержу уже нет без трудодействия.

– Ух, матерщинник, – бормочет сквозь сон Галина.

– Сама знаешь, теща – культурная, не любит мата. Даже кошек тогда выносит из комнаты, – угрожает Петя.

Скрипя всем телом, Галина встает.

– Мы уходим, мамаша, – обращается Петя к вошедшей Полине Васильевне.

– Ну и Бог с вами, уходите, – умиляется Полина Васильевна. – Какая я была маленькая, а теперь большая. И мои уже накормлены, – кивает она в сторону кошек.

Дети уходят. Полина Васильевна свертывается на диване калачиком.

”Полежу я, полежу”, – думает она полчаса.

”Полежу я, полежу”, – думает она еще через два часа. Так проходит вечер.

УРОК

Пятый класс детской школы. Идет урок.

Две большие, как белые луны, лампы освещают аккуратные ряды потных, извивающихся мальчиков. Они пишут. Перед ними стройно стоит, как фараон, ослепительно белокожая учительница. В воздухе – вздохи, шепоты, мечтания и укусы.

Шестью восемь – сорок восемь, пятью пять – двадцать пять.

”Хорошо бы кого-нибудь обласкать”, – думает из угла веснушчатый, расстроенный мальчик.

– Арифметика, дети, большая наука, – говорит учительница.

Скрип, скрип, скрип пера... Не шалить, не ша-

лить... ”Куда я сейчас денусь, – думает толстый карапуз в другом углу. – Никуда... Я не умею играть в футбол, и меня могут напугать”.

Над головами учеников вьются и прыгают маленькие, inferнальные мысли.

”Побить, побить бы кого-нибудь, – роеся что-то родное в уме одного из них. – Окно большое, как человек... А когда я выйду в коридор, меня опять будут колотить... И я не дойду до дому, потому что надо идти через людей, по улицам, а мне хочется замирать”...

Кружева, кружева... Белая учительница подходит к доске и пишет на ней, наслаждаясь своими оголенными руками.

Маленький пузан на первой парте, утих, впившись в нее взглядом.

”Почему ум помещается в голове, а не в теле, – изнеженно-странно думает учительница. – Там было бы ему так уютно и мягко”.

Она отходит от доски и прислоняется животом к парте. Повторяет правило.

”Но больше всего я люблю свой живот”, – заключает она про себя.

”Ах, как я боюсь учительницы, – думает в углу веснушчатый мальчик. – Почему она так много знает... И такая умная... И знает, наверное, такое, что нам страшно и подумать”...

Раздается звонок. Белая учительница выходит из класса, идет по широким, пустым коридорам. Вокруг нее один воздух. Никого нет. Наконец она входит в учительскую. Там много народу. Нежданные, о чем-то думают, говорят. Белая учительница подходит к графину с водой и пьет.

”Какая ледяная, стальная вода, – дрогнуло в ее

уме, – как бы не умереть... Почему так холодно жилке у сердца... Как хорошо”... Садится в кресло. ”Но все кругом враждебно, – думает она, мысленно покачиваясь в кресле, – только шкаф добрый”. Между тем все вдруг занялись делом.

Пишут, пишут и пишут.

В комнате стало серьезно.

К белой учительнице подходит мальчик с дневником.

– Подпишите, Анна Анатольевна, а то папа ругается.

Белая учительница вздрагивает, ничего не отвечает, но шепчет про себя:

– Разве мне это говорят?.. И разве я – Анна Анатольевна?.. Зачем он меня обижает. ”Я” – это слишком великое и недоступное, чтобы быть просто Анной Анатольевной... Какое я ко всему этому имею отношение!?

Но она все-таки брезгливо берет дневник и ручку. ”Я подписываю не дневник, – вдруг хихикает что-то у нее в груди. – А приговорчик. Приговор. К смерти. Через повешение. И я – главный начальник”. Она смотрит на бледное, заискивающее лицо мальчика и улыбается. Легкая судорога наслаждения от сознания власти проходит по ее душе.

– Дорогая моя, как у вас с реорганизацией, с отчетиками, – вдруг прерывает ее, чуть не дохнув в лицо, помятый учитель. – Ух ты, ух ты, а я пролил воду... Побегу...

Опять раздается звонок. Белая учительница, слегка зажмурившись, чтоб ничего не видеть, идет в класс.

...Кружева, кружева и кружева.

”Хорошо бы плюнуть”, – думает веснушчатый, нервный мальчик в углу.

Шестью восемь – сорок восемь, пятью пять – двадцать пять.

Белая учительница стоит перед классом и плачет. Но никто не видит ее слез. Она умеет плакать в душе, так, что слезы не появляются на глазах.

Маленький пузан на первой парте вылил сам себе за шиворот чернила.

”Я наверняка сегодня умру, – стонет пухлый карапуз в другом углу. – Умру, потому что не съел сегодня мороженое... Я ведь очень одинок”.

Белая учительница повторяет правило. Неожиданно она вспотела.

”По существу ведь – я, – думает она, – императрица. И моя корона – мои нежные, чувствительные мысли, а драгоценные камни – моя любовь к себе...”

”Укусить, укусить нужно, – размышляет веснушчатый мальчик. – А вдруг Анна Анатольевна знает мои мысли?!”...

Урок продолжается.

СМЕРТЬ РЯДОМ С НАМИ

(Записки нехорошего человека)

Человечек я нервный, слезливый и циничный, страдающий язвой желудка и больным, детским воображением.

Сегодня, например, с утра я решил, что скоро помру.

Началось все с того, что жена, грубо и примитивно растолкав меня, на весь дом потребовала утреннюю порцию любви.

Плачущим голосом я было пискнул, что хочу спать, но ее властная рука уже стаскивала с меня одеяло.

— Боже, когда же кончится эта проклятая жизнь, — пробормотал я понуро и уже не сопротивляясь.

Через десять минут я был оставлен в покое и глубоко, обидчиво так задумался. Погладив свой нежный живот, я вдруг ощутил внутри его какое-то недоумение. Я ахнул: "Это как раз тот симптом, который Собачкин мне вчера на ухо шепнул. Моя язва переходит в рак". Если бы я в это действительно поверил, то тут же упал бы в обморок, потом заболел... и, возможно, все бы для меня кончилось. Но я поверил в это не полностью, а так, на одну осьмушку. Но этого было достаточно, чтобы почувствовать в душе эдакий утробный ужас.

— Буду капризничать, — заявил я за завтраком жене.

— Я тебе покапризничаю, идиот, — высказалась жена.

— Давай деньги, пойду пройдуся, — проскрипел я в ответ.

Жена выкинула мне сорок копеек. Я выскочил на улицу с тяжелым, кошмарным чувством страха, и в то же время мне никогда так не хотелось жить.

Изумив толстую, ошалевшую от воровства и пьянства продавщицу, я купил целую кучу дешевых конфет и истерически набил ими свой рот. "Только бы ощущать вкусность, — екнуло у меня в уме. — Это все-таки жизнь".

Помахивая своим кульком, я направился за получкой на работу. В этот летний день у меня был отгул.

Но цепкий, липкий страх перед гибелью не оставлял меня. Капельку поразмыслив, я решил бежать.

”Во время бега башка как-то чище становится”, – подумал я.

Сначала тихохонько, а потом все быстрее и быстрее, с полным ртом конфет, я ретиво побежал по Хорошевскому шоссе. Иногда я останавливался и замирал под тяжелым, параноидным взглядом милиционера или дворника. ”Какое счастье жить, – трусливо пищал я про себя. – Давеча ведь не было у меня страха, и как хорошо провел я время: целый день молчал и смотрел на веник. Если выживу, досыта на него посмотрюсь. Только бы выжить!”

Иногда я чувствовал непреодолимое желание – лизать воду из грязных, полупомойных лужиц. ”Все-таки это жизнь”, – повизгивал я.

Скоро показались родные, незабвенные ворота моего учреждения – Бухгалтерии Мясосбыта. Пройдя по двору и растоптав по пути детские песочные домики, я вбежал в канцелярию. Так уживались друг с другом и истеричный веселый хохоток, и суровая, вобравшая все в себя задумчивость. Представители последней, казалось, перерастали в богов. Мой сосед по стулу – обросший, тифозный мужчина – сразу же сунул мне под нос отчет.

”Боже мой, чем я занимался всю жизнь!” – осенило меня.

Поразительное ничтожество всего земного, особенно всяких дел, давило мою мысль. ”Всю свою жизнь я фактически спал, – подумал я. – Но только теперь, находясь перед вечностью, видишь, что жизнь – есть сон. Как страшно! Реальна только смерть”.

Где-то в уголке, закиданном бумагой и отчетами, тощая, инфантильная девица, игриво посматривала на меня, рассказывала, что Вере – старшему счетоводу и предмету моей любви – сегодня утром хулиганы отрезали одно ухо.

Это открытие не произвело на меня никакого впечатления. "Так и надо", – тупо подумал я в ответ.

Теперь, когда, может быть, моя смерть была не за горами, я чувствовал только непробиваемый холод к чужим страданиям. "Какого черта я буду ей сочувствовать, – раскричался я в душе. – Мое горе самое большое. На других мне наплевать".

Я ощущал в себе органическую неспособность сочувствовать кому-либо, кроме себя.

Показав кулак инфантильной девице, я посмотрел в отчет и ни с того ни с сего подделал там две цифры. Все окружающее казалось мне далеким, как будто вся действительность происходит на луне.

Между тем зычный голос из другой комнаты позвал меня получать зарплату. Без всякого удовольствия я сунул деньги в карман.

Оказавшись на воздухе, я сделал усилие отогнать страх. "Ведь симптом-то пустяшный, – подумал я. – Так, одна только живость ума". На душонке моей полегчало, и я почувствовал слабый, чуть пробивающийся интерес к жизни. Первым делом я пересчитал деньги. И ахнул. Раздатчица передала мне лишнее: целую двадцатипятирублевую хрустящую бумажку. Сначала я решил было вернуть деньги. Но потом поганенько так оглянулся и вдруг подумал: "Зачем?"

Какое-то черненькое, кошмарное веселие во всю плескалось в моей душе. "Зачем отдавать, – пискнул я в уме, – все равно, может быть, я скоро умру... Все равно жизнь – сплошной кошмар... Подумаешь: двадцать пять рублей – Вере ухо отрезали, и то ничего... А-а, все сон, все ерунда..."

Но в то же время при мысли о том, что зарплата моя увеличилась на такую сумму, в моем животе стало тепло и уютно, как будто я съел цыплят-табака.

Вдруг я вспомнил, что раздатчица получает за раз всего тридцать рублей.

”Ну и тем более, – обрадовался я. – Не заставят же ее сразу двадцать пять рублей выплачивать. Так по четыре рубля и будет отдавать... Пустяки”.

Но мое развлечение быстро кончилось; знакомый ужас кольнул меня в сердце: вдруг умру... даже пива не успею всласть напиться. Прежний страх сдавил меня.

– Куда мне деваться? – тоскливо спросил я в пустоту.

Недалеко жила моя двоюродная сестра. Но представив ее, я почувствовал ненависть. ”Лучше к черту пойти”, – подумал я.

У нас с ней были серьезные разногласия. Дело в том, что моя сестра, в молодости будучи очень похотливой и сделавшая за свою жизнь 18 аборт, вдруг на 35-ом году своей жизни впала в эдакий светлый мистицизм и стала искать живого общения с Богом. Не знаю, что на нее повлияло: то ли долгий, истошный крик толстого доктора о том, что – ”еще один аборт и стенки матки прорвутся”; то ли дикие угрызения совести из-за того, что она, ради своего удовольствия, не допустила до жизни 18 душ... но с некоторых пор она упорно стала повторять, что мир идет к свету.

Хорошо помню ее разговор с соседкой.

– Ну, Софья Андреевна, – говорила соседка, – ну одного, двух человек умертвить, это еще куда ни шло, – ни одна порядочная женщина без этого не обходится – но, подумайте сами, 18 человек!

– Ерунда, – брякнула сестренка, – вы видите только темную сторону жизни. Если я их и убила, то ведь зато существуют восход солнца и цветы.

Я представил себе, как она станет поучать меня и побрел куда-то вдаль проходными дворами. Я прохо-

дил мимо галок, автомобилей, бревен, тяжелых, мясистых баб и уютных, слабоумных старичков.

Наконец, утомившись, я прикорнул на пустынном, одичалом дворике у досок. Кругом валялись кирпичи. И ни одной души не было. Вдруг около меня появилась жалобная, брюхатая кошка. Она не испугалась, а прямо стала тереться мордой о мои ноги.

Я чуть не расплакался.

— Одна ты меня жалеешь, кисынька, — прошептал я, пощекотав ее за ухом. — Никого у меня нет, кроме тебя. Все мы, если не люди, то животные, — проследился я. — И все смертные. Дай мне тебя чмокнуть, милая.

Но вдруг точно молния осветила мой мозг, и я мысленно завопил:

— Как!.. Она меня переживет!.. Я умру от рака, а эта тварь будет жить... Вместе с котятками... Негодяйство!

И не долго думая, я хватил большим кирпичом по ее животу. Что тут было! Нелепые сгустки крови, кишок и маленьких, разорванных зародышей звучно хлюпнули мне по плащу и лицу. Меня всего точно облили. Ошалев, я вскочил и изумленно посмотрел на кошку.

Умирая, она чуть копошилась. Какой-то невзрачный, как красный глист, зародыш лежал около ее рта. От тоски у меня немного отнялся ум.

Быстро, даже слегка горделиво, весь обрызганный с головы до ног, я вышел на улицу.

”На все плевать, — думал я, — раз умру, на все плевать”. Прохожие шарахались от меня в сторону, только какой-то пес, почуяв запах свежей крови, долго и настойчиво бежал за мной по пятам, повиливая хвостом. Забрел я на какую-то отшибленную, одинокую улочку. Кроме пивной и керосиновой

лавки, никаких учреждений на ней не было. Там и сям шныряли потные, временами дерущиеся обыватели. Вдруг я услышал за спиной пронзительный, милицейский свист. Я обернулся и увидел вдали пьяного, еле держащегося на ногах обывателя, который указывал на меня пальцем, и несущегося во всю прыть в моем направлении дюжего милиционера. Я робко прижался к стенке.

— В отделение! — гаркнул милиционер, осмотрев меня своими большими, как ложки, глазами.

Через десять минут, промесив липкую помойную грязь, мы очутились в прокуренном, покосившемся помещении, плотно набитом людьми. На стенах висели плакаты. За толстой невысокой перегородкой, вроде перил, были милиционеры, по другую сторону мы — граждане. Нас соединяла какая-то дверца, похожая на калитку, и то, что все мы, в большинстве, были пьяны так, что еле держались на ногах.

Ретивый, полутрезвенький милиционер подряд штрафовал граждан за алкоголизм, еле успевая засовывать рубли и монеты себе по карманам. Он так торопился, что половина штрафа просыпалась у него под ноги и мелочь густо, как семечки, усыпала пол.

Меня перепугал гроб, стоящий в углу. Но оказалось, что какой-то здоровый милиционер, еле выводя буквы, составлял о нем акт. Рядом стояла, тоже под хмельком, ядовитая старушка в платочке.

— Не будешь, мать, спекулировать гробами, — приговаривал милиционер. — Другой раз задумаешься.

Наконец очередь дошла до меня.

— К этому нужно вызвать начальника милиции, — гаркнул задержавший меня служивый.

Скоро вышел сухонький, маленький человечек в форме офицера. Он тоже был пьян.

Пошептавшись с моим милиционером, он подошел ко мне.

– Почему вы облеваны? – спросил он.

– Это не блевотина, а кровь, товарищ начальник, – ответил я.

– Не врите; что я не вижу, – пошатываясь, сказал начальник. – Если б была кровь, мы бы вас еще месяц назад задержали.

– Я подрался с кошкой, – тихо, как в церкви, проговорил я. – У меня были с ней метафизические разногласия. Кто переживет друг друга.

– Ну хулиганьте, гражданин, – рявкнуло начальство. – Отвечайте, почему вы облевались, где не положено, и не в том месте перешли улицу?!!

– По рылу бы ему дать, – ухнул розово-упитанный милиционер у меня под ухом.

– Не самовольничайте, Быков, – оборвал его начальник. – Платите штраф, гражданин, и точка.

– Сколько?

– Ну... на четвертинку... полтора рубля то есть.

Я сунул ему в руку два рубля и повернулся к выходу.

– Гражданин, держите квитанцию, – раздался мне вслед хриплый, надрывный голос. – У нас тут не частная лавочка.

И кто-то сунул мне в руку конфетную бумажку. Потрепанный, я выскочил на улицу.

– В конце концов, должен же я знать, когда умру, – завопил я перед самим собой. – Я больше этого не вынесу. Я должен знать: умру я или не умру.

Но тут счастливая, устремленная мысль осенила меня. Вприпрыжку, по самым лужам, стараясь забрызгать себя грязью, чтобы скрыть следы крови, я побежал к трамваю...

Через полчаса я был у букинистического магазина. С каким-то неопределенным чувством, смутно надеясь найти какое-нибудь завалящее пособие по предсказанию будущего, я зашел внутрь.

— У вас есть черная магия? — спросил я продавщицу.

Она подняла на меня глаза и, увидев мое перепачканное в крови и грязи лицо, пискнула, и, кажется, обмочилась.

Истерически, не обращая на нее внимания, я начал копаться в книгах. Случайно мне подвернулся справочник по диагностике для фельдшеров Курской области.

Разобравшись в нужном разделе, я пробежал глазами страницу и вскрикнул: против моего симптома, который шепнул мне на ухо Собачкин, вместо зловещего слова "рак", стояло слово "запор". Ошарашенный от радости и еще не веря своему счастью, дрожа от нетерпения и страха, бормоча: "Все равно не поверю, все равно не может быть, чтоб так везло", — я стал рыться в толстых, академических справочниках. И везде против моего симптома стояло радостное, сияющее слово: "запор".

Шатаясь, я отошел в сторону. Продавщица, забившись в угол, расширенными от ужаса глазами смотрела на меня и бормотала, очевидно в качестве молитвы, слова песенки: "Ах, хорошо на белом свете жить..."

— Теперь я готов все простить Собачкину, — ликовав я, выйдя на улицу.

Но после первого приступа радости пережитые страхи и тревоги дали реакцию: я готов был долго, целыми днями, плакать.

Измученный, ввалился я домой.

— На кого ты похож! — заорала жена.

Сначала слегка припугнув ее тем, что у меня мог быть рак, рассказал я ей, как тяжело я это перенес и как открыл, что ошибся.

– Пожалей меня, я убил беременную кошку, – заскулил я, упав в ее руки. – Теперь меня замучает совесть.

– Только и всего. Какая ерунда, – бодро провозгласила жена. – Ну сделал глупость, другой раз так делать не будешь.

– Везде ужасы, – лепетал я. – Одному дяде с нашей работы хулиганы отрезали ухо...

– А тебе-то что, – прервала жена. – Если только это дядя, а не тетя, – и она внимательно посмотрела на меня.

– Конечно, дядя. Большой такой, – покраснев, увильнул я.

Жена принесла ведро воды.

– Я не вернул раздатчице лишние деньги; у нее детишки, они будут голодные, – не выдержав, горько всхлипнул я.

– А вот это ты молодец, – обрадовалась жена. – Не зря страдал, что болел раком. Сколько же она тебе передала?

– Десять рублей, – опять покраснел я и, не переставая всхлипывать, мельком подумал, с каким удовольствием я пропью завтра оставшиеся пятнадцать рублей.

– Ну, все хорошо, что хорошо кончается, – заключила жена. – А ведь намучился ты так потому, что тебя Бог за меня наказал. Не хотел принести мне сегодня утреннюю любовь...

– Я больше не буду, – еще горше заплакал я.

– То-то, милоч, слушайся меня впредь, – окончила жена и стала меня отмывать. Временами, умиленный, как поросенок, наслаждаясь своим спасением, я целовал ее голые руки.

КОГДА ЗАГОВОРЯТ?

Иван Иванович Пузиков жил у себя. Правда, это у "себя" занимали у него два обычных, вне мира сего кота, взъерошенных от звука собственного голоса, собака Джурка, бегающая за своим хвостом, и просто корова, мычащая в углу.

Все это находилось в старом, полуповаленном домике, отгороженном от земли серым, неприятным забором. Большею частью Иван Иваныча в доме не было: потому что свое присутствие он не считал за присутствие.

Он весь жил своими животными.

Правда, по видимости многие другие обыватели тоже жили животными. Но на самом деле все было не так. Они приходили на скамью Иван Иваныча, стоящую перед домом, и долго-долго сидели на ней. Все такие ладные, с животиками и точно сделанные из света.

Кроме того, что они молчали, они то и дело вскрикивали, глядя на собаку: "Джурка, Джурка!.." и вздрагивали. Помолчат-помолчат, а потом опять кто-нибудь вскрикнет: "Джурка... Джурка!"

Сначала собака виляла хвостом, а потом совсем одурела от этих вскриков и вместо того, чтобы оборачиваться на людей, приподнимала морду вверх, на небесные светила.

Этот ежечасный среди общего могильного молчания вскрик "Джурка" собственно ничего не выражал, кроме формы-существования самих обывателей. Поэтому он был обращен в них самих, а не на животных.

Так и проводили люди, окружающие Иван Иваныча, отпущенное им время. Но у "самого" от-

ношение к животным было совсем противоположное.

Почти не существуя на протяжении десятилетий и ощущая вокруг себя одну пустоту, Иван Иванович вдруг, выйдя на пенсию, родился духовно, пристально, сам по себе, всматриваясь в тела животных. Его поразила прежде всего "тайна". "Такие оформленные, с разнообразием, а существуют", — думал он. "Ишь", — и вилял своим воображаемым хвостиком.

Еще его пугала страшная близость животных к человеку; всматриваясь в глаза этих тварей, он искал в них ту силу, которая перебросила или может перебросить мост между животностью и сознанием. В замороженных глазах собаки, похожих на человеческие внешне и не похожих по отсутствию в них тайного огня разума, нащупывал Иван своим не то пропитым, не то метафизическим взглядом эту жуткую власть; желая разгадать ее, он внутри надеялся тогда понять и себя, который, возможно, был когда-то животным. Он не думал о силах, стоящих вне этой цепи, но действующих на нее; его интересовала только прямая связь между сознанием и этими лохматыми, то непомерно большими, то до смешка мелкими тварями.

"Почему у них сейчас нет разума? — почесываясь, думал Иван. — И что заставит его появиться в них?"

Пытаясь понять, охватить эту связь в целом, а не объяснить механически, наивно, как ученые, он, чувствуя, что по-настоящему проникнуть в тайну выше сил человеческих, прибегал к странным, нелепым, черным ходам.

То вставал на четвереньки и, приближая свое лицо к собачьей морде, мысленно обнюхивал животные глаза и, главное, то, что за ними скрыто. Правда,

иногда он не выдерживал и начинал кусать Джурку или бегать за ней на четвереньках, ломая лопухи.

Эти сцены повергали местных обывателей в полное молчание. Они молчали так, как будто души их улетали на небеса.

Иногда Иван пытался разговаривать с коровой и даже читать ей зоопсихологию.

Постепенно его методы, пляшущие вокруг незнаваемого, совершенствовались.

Убедившись в том, что эту скрытую в животных божественную силу нельзя расшевелить человеческим разумом и языком, Иван решил прибегнуть к телесному шифру.

Например, он полюбил плакать перед кошкой, как будто опускаясь до ее уровня.

Нередко делал перед коровой замысловатую гимнастику, описывая в воздухе начальные буквы алфавита.

Нюхал собачьи следы.

Так продолжалось года два-три; и наконец Иван почувствовал, что его животные скоро заговорят. Он ощутил это вечером, ошалевший от жары и вечного тупого молчания зверей. Он вдруг взмок от страха, что они всю жизнь будут так молчать. И спрятался от всего существующего в темный сарай, между сеном и простой, точно разрезающей ад деревянной, досчатой стеной.

И вдруг — то ли солнце не так прошло свой извечный путь, то ли повеяло новым существом — Иван почувствовал: Заговорят! Заговорят! Сейчас заговорят!

Как он мог раньше сомневаться!

Он приподнялся из угла и торопливо засеменял вперед к изменяющемуся миру.

”А если животные станут, как мы, то во что мы превратимся?! Для кого мы заговорим!?” – радостно мелькнуло у него в уме.

”Заговорят, заговорят”, – заглушило все в его сознании.

Юрк – и Иван очутился вне сарая, на лужайке. А где же животные?

”Корова, корова обязательно заговорит”, – подумал он. Иван представил себе, как он обнимет ее теплую, мягкую шею, поцелует в мяготь, как раз в то место, которое не раз у других коров – шло в суп, и расскажет ей о Господе, о сумасшествии и об атомных взрывах.

И корова удивится своему пониманию. И расскажет ему о той силе, которая превратила ее в разумное существо.

– Пеструшка, Пеструшка! – поманил ее Иван со значением.

Но увы – ни в хлеву, ни на участке, нигде поблизости – коровы не было. А веревка, которой он привязывал ее к столбу – была оборвана.

– Ушла, – холодно, с жутью подумал Иван, – как только появился разум, ушла.

Он приюлил вокруг своего заброшенного домика, как будто ловя пустоту. Корова исчезла.

– Морду ей за это надо набить, – твердо подумал он.

Спрятав кошку и собаку, которые пока еще не проявляли явных признаков человеческого сознания, в конуру, Иван решил действовать.

Больше всего он боялся, что корова, обнаружив у себя разум, запыет.

Поэтому прежде всего он рысцой побежал в ближайшую пивную. Пивная была лихорадочна, в зеле-

ных пятнах, но облепленная у дверей сонно-боевыми людьми.

Тьма их, сгущенная у стойки, была еле видна. Иван полез внутрь, расталкивая старушек и инвалидов. Вдруг он увидел знакомую, пропито-обросшую, отключенную физиономию.

– Вася, Вася! – заорал он, – корова тут не пила? Или ты не заметил?!

– Не толкало, не толкало, – мотая головой, ответил Вася и скрылся в темном, заваленном людьми углу.

– Не смущай ум, – вдруг фыркнул Ивану в ухо седой, как лунь, старичок.

– Значит, не пила, – выскочил Иван из заведения. Потому что не тот шум сегодня.

Он успокоился и, виляя мыслью, стал обдумывать, куда бы еще могла пойти корова, ставшая, по его мнению, идеею.

Вдруг лицо Вани раздвинулось в добродушно-ощеренной улыбке.

– В библиотеку, небось, пошла, – подумал он. – Читает. Информирован.

И Иван, покрикивая по дороге на столбы, поскакал в местную читальню. Он почему-то не сомневался, что корова там.

Старушка-заведующая, заснувшая между тем в уборной, была "разбужена" резким стуком в клозетную дверь. Это ломился Иван.

Оказывается, не найдя в читальном зале никого, кроме перепуганной библиотечарши, Иван бросился искать корову около клозета, так как, естественно, клозеты самые грязные места.

– Не хулиганьте, молодой человек, – орала на него выскочившая и мутно-встревоженная старуш-

ка. – Черт знает чем занимаетесь! Книжки бы лучше читали!!

– Ты мне зубы не заговаривай! – кидается на нее Иван. – Говори, куда спрятала корову?!

– Идиот! – взвизгнула старушонка.

– Патология! Патология! – заорала она, подняв руки вверх и бросившись по коридору.

Везде вдруг стало тихо. Иван спокойно осмотрел клозет, директорский кабинет, несколько закоулков с портерами – и нигде не нашел животное.

Отдышавшись, он выпрыгнул в окно.

Действительность разумной коровы мучила его. Притихнув душой, он ковылял по улице к домику, где жил старичок, занимавшийся оккультизмом.

– Что тебе, Ваня? – осторожно спросил его старичок, заглядывая в глаза.

– Корова от меня ушла, вознеслась, что ли, – угрюмо буркнул Иван.

– Будет, будет, будет, все будет! – закричал старичок и резко захлопнул дверь перед носом Ивана Иваныча.

– А ну ее на хрен... – подумал Иван и пошел дальше непонятной дорогой.

В поте забрел к соседу, Никифору, не очень странному человеку, воровавшему у себя самого кур. Жил он в углу. Сели за стол. Никифор вынул из порток бутылку с водкой.

– Корова, корова исчезла, – проговорил Иван.

– Да украли твою корову, тяпнули, – поморщившись, прикрикнул Никифор. – Я сам видел.

– Не может быть, – обмяк Иван Иваныч. – Она у меня стала разумная.

– А ты откуда знаешь? – и Никифор из-под бутылки уставил на него пристальный взгляд. Помолчали.

– Я, правда, не говорил с ней, – ответил Иван. – Не успел. Как только почувствовал, что у ей – разум, ее, значит, увели.

– Увели, увели точно, – оскорбился Никифор. – Какая бы она ни была разумная, хоть с умом, как у божества, но все равно – корова есть корова. Она для жратвы предназначена. На мясо. И ты не мути ум.

– Кто ж это ее увел? – плаксиво промычал Иван.

– Да из шайки Косого. Они и милицию всю прирежут, не то что корову, – рассудил Никифор, – ишь... теперь ее – ищи, свищи... Они уж, небось, ее пропили... На базаре...

– Ну я пойду, – отвернулся вдруг Иван. – Раз Косой, то дело кончено.

Дома ему вдруг стало страшно одиноко, и он всю ночь стремился уснуть, пряча голову под охапку с сеном.

Весь следующий день он мучился отсутствием непознанной коровы. Мир все больше дробился, принимая вид неба, усеянного бесчисленными звездами-сущностями.

Вскоре Иван решил кончать всю эту хреновину.

У запертых в сарай кошки и собаки не появлялся разум. Возможно, нужно было очень много ждать. Но Ивана тянуло куда-то вперед, на действие, в бесконечность. Да и измотали его ум эти животные... Поэтому Ваня решил их съесть. Утром растопил сало на огромной, еще свадебной сковородке.

И поплелся в сарай, к bestиям.

Сначала, встав на колени, удавил руками кошечку, причитая о высшем. Пса заколол ножницами. И в мешке отнес трупы на сковороду. Ел в углу, облизываясь от дальнего, начинающегося с внутренних небес, хохота.

Поглощая противное, в шерсти мясо, вспоминал

кровию о своей голубоглазой, разумной корове, вознесшейся к Господу.

Прожевывая кошачье мясо, думал, что поглощает Грядущее.

Много, много у него на уме бурь было.

А когда съел, вышел из избы, вперед, на красное солнышко, и...

ЖИВАЯ СМЕРТЬ

Нас здесь четверо: я, по имени Дориос, затем Мариус, потом существо № 8 и Ладочка.

Мариус: Как мы сюда попали?

Я: Только от самого себя, только от самого себя. Поэтому-то мы и не знаем, как мы сюда попали.

Мариус: Все ты выдумываешь. У меня кружится голова – это тоже от самого себя? И мысли вылетают из головы, как птицы из рта. Когда же это кончится? Но пока все сознание кружится вокруг чистого "я", как планеты вокруг солнца...

Существо № 8: Вперед, вперед!.. Гав... гав!

Лада (задумчиво): Друзья мои, единственные, здесь плохо то, что предметы все время меняются: смотрите, вот это было креслом, а сейчас уже мертвая птица... Чернильница – то авторучка, то замурованное сердце... Как быстро... Как быстро... Все меняется и исчезает. (Хлопает в ладоши.)

Я (лежа на диване, который становится то шкурой тигра, то простыней): Когда-нибудь мы отсюда выберемся.

Существо № 8: Не забывайте, что и мы когда-то очень давно, тоже были сковородками...

А теперь разрешите представиться более точно. Я – это я, Мариус – это мое бывшее, средневековое воплощение, а существо № 8 – это уже не человек; но он был им десятки тысячелетий назад: зато Ладочка – это молодая, белокурая, нежная, неизвестно из какого времени девушка, которая, бросив все на свете, потусторонне и неожиданно привязалась к нам.

И мы странствуем вместе неизвестно откуда и куда. А теперь мы находимся здесь.

Что окружает нас?

Меняющиеся предметы, но среди них постоянна одна – большая, черная груша, которая, как лампа, свисает... с пустоты.

А дальше – по ту сторону этого странного мира – бродят одинокие, спотыкающиеся люди. Они покупают в магазинах слезы, хлеб и водку. На нас они не обращают внимания; наверное потому, что не видят нас; о, почему нас никто не видит! Нас не видит, наверное, и сам Бог. Да и как можно видеть наш мир, точно вытолкнутый из пространства, как пробка из воды... Ладочка, Ладочка, может быть, мы просто больны? Помнишь, существо № 8, наклонившись к тебе своим странным, тетраэдным телом (оно, как все мы, очень любит тебя) рассказывало тебе, что от человека может произойти длинная цепь невиданных существ, развивающихся в сфере душевной патологии, и что тайна сия велика есть. Когда ты, улыбнувшись, спросила, не идем ли мы таким путем, существо № 8 захохотало и, прыгнув на единственно неподвижный предмет в нашем мире – углубленную в себя черную грушу, – подмигнуло нам всеми своими шестьюдесятью глазами. Потом мы все поцеловались друг с другом и выпили немного вина. Ты улыбну-

лась, когда Мариус, взглядом, точно вышедшим из глубокого Средневековья, удивленно посмотрел на меня, свое будущее воплощение. "Он все еще не может привыкнуть", – засмеялась ты, и, как всегда, в воздухе словно задрожали колокольчики из мыслей... А ты помнишь, Ладочка, что, когда ты смеешься, как будто голубой дождь внезапно и быстро проходит по миру? Но потом ведь, знаешь, всегда опускался этот черный, глухой занавес перед всем... Почему? Разве мир театральная сцена? Конечно, да. Но чья? Кто режиссер? Помнишь, после твоего смеха, когда опускался занавес, мы ничего не видели, все было скрыто, и мы сами цепенели, коченели в одних позах, точно на время превращались в статуи. Потом, когда все проходило, ты первая опоминалась, вся в слезах, и говорила, что никогда уже не будешь смеяться этим своим голубым смехом, чтобы потом не захватило нас подобие смерти.

Но мы, успокаивая тебя, сразу говорили, что все равно лучше еще хоть один раз услышать твой смех... Только существо № 8 забивалось в наш вечно магический угол и выходило оттуда с колпачком на носу... Но хватит, хватит воспоминаний. Мы ведь по-прежнему здесь.

Лада: Смотрите, смотрите, все предметы стали неподвижны; они не меняются; но кресло, где я сижу, так и осталось мертвой птицей...

Существо № 8: Кар-кар!!

Мы с Мариусом подходим к гигантскому окну: но все равно ничего не видно сквозь сплетения зеленых, умирающих змей, свитых, как тюремная решетка. У них часто, с мгновенной, как писк мыши, но таинственной музыкой отваливаются маленькие, точно человеческие на фотографии, головы; весь пол у окна усеян ими, как вкусными объедками.

– Друзья, – обращается к нам Лада, – давайте-ка, прикорнув друг около друга, выпьем немного нашего душистого, тропического чаю; пока еще нам так хорошо; а ведь скоро начнется первая жуть.

– Да, да, – всполошилось существо № 8, подтягивая свои странные штаны, – скоро начнется.

Мы собираемся в один кружок на малиново-черном ковре, бывшем до этого волосами гигантской, еще не родившейся женщины. Существо № 8 пристраивается налево от Ладочки, но так, чтобы не мешать ей острыми углами своего нечеловеческого тела, Мариус – направо, чтобы не умереть оттого, что не будет видно Ее лица. Мы все недалеко друг от друга, и небольшой круг, который образовался внутри нас, светится, словно отражение затерянного в высоте Лица Неведомого. Лада, опустив в это отражение свои тонкие, гибкие, как мысль, руки, разливает нам чай.

Лада: Ведь мы уже давно не люди; в нас нет ничего от человеческой простоты и животности; но этого мало; что с нами будет?.. Скоро начнется первая жуть, потом еще и еще... Мне кажется, что у нас уже скоро никогда не будет этих светлых промежутков, когда воет механическая сова, вяло падают на пол головы с умирающих змей, одна за другой меняются вещи, кроме вечно неподвижной, закрывшей веки груши, и когда мы беседуем, как выбраться отсюда... Скоро не будет этих светлых промежутков... Будет все хуже и хуже...

Мариус: О, как мне хочется вновь очутиться в моем милом, глубоком Средневековье... Только я обязательно взял бы вас всех вместе с собой: без вас я не могу; мы жили бы в моем родовом замке; существо № 8 сошло бы за какое-нибудь индусское привидение; мы сидели бы вместе у окна, из которого виднее-

тсЯ лесная дорога, по ней не раз отправлялись рыцари славить Бога...

– Мы все: Мариус, Мариус, а что такое Бог!?

Мариус (улыбнувшись): Ну тогда дорога, по которой рыцари уезжали славить Возлюбленную... Мы пьем у этого окна вино, где-то в лесу сжигают еретиков, воеет ветер, и мы читаем Апокалипсис... Но нам хорошо, хотя немного страшно... Славное, старое время.

Я: Да, скоро наступит первая жуть.

Мариус: Мы все говорим одним языком; это страшный знак единства.

Существо № 8: Я никогда не смогу попасть в Средневековье; потому что я слишком давно, десятки тысяч лет назад был человеком...

Мы на минуту замолкаем; и Ладочка, улыбнувшись, целует всей своей душой существо № 8. Целует в один из его шестидесяти глаз... И у существа № 8 от этой нежности вдруг сразу начинаются галлюцинации... Почему чем дальше от человека, тем любовь становится все больше и больше!?

– Первая жуть не так уж страшна, – замечает Лада.

И вот наступает. Сине-зеленый свет падает на наш мир и на наши лица. Мы немного мертвеем и уходим в себя. Внезапно я чувствую, что какая-то сила начинает вытягивать из меня мое сознание; вытягивать, кажется, через темя, какими-то длинными, невидимыми; но цепкими щипцами. Вдруг – раз, и уже нет сознания и я почти неживой, точно болванчик, замерший в позе Будды где-то на заборе.

И я вижу, что то же самое с моими друзьями – Мариусом и существом № 8. Только Лада, бледная, еще держится. И мы все видим, как прямо перед нами

сидят на шкафу и лихо играют на гитаре вытянутые из нас три сознания, превратившиеся точно в такие же существа, как мы.

Мы все – там, на шкафу, но внутри себя – нас нет!

О, как мучительно видеть себя извне и не чувствовать внутри! Мы, как пустые, выпотрошенные болванчики, смотрим на самих себя, бренчащих на гитаре, смотрим, как на отделившихся, чужих существ. А сами мы – почти нуль. Наши глаза стекленеют от пустоты, но мы словно замороженные смотрим на самих себя. Почему они там на шкафу, эти наши отделившиеся "я", дергаются не по нашей воле; почему они совершают какие-то непонятные поступки.

"Я на шкафу" болтаю ногами и щекочу брюхо Мариусу; Мариус заливается диким хохотом; "существо № 8 на шкафу" выглядит свиньей, ищущей в потемках Небо.

"Мы, настоящие" цепенеем и ждем. А "мы или они на шкафу" кривляются, дергаются в странной, непотребной ласке и хватают с неба невидимые апельсины.

А у "существа № 8 на шкафу" вдруг появляется где-то в прозрачной глубине его тетраэдного тела туманное лицо человека. Потом оно вдруг исчезает, и в "существе № 8" выделяется ангельский лик.

– Давайте их уьем, – вдруг говорим "мы на шкафу", указывая на себя настоящих.

"Они на шкафу" смотрят на нас своими пристальными, сумасшедшими глазами; и мы впиваемся так друг в друга, покачиваемся и, сидя, чуть приплясываем вместе со всем нашим выкинутым миром.

Кажется, все безумие голого существования смотрит на самое себя и, сплетаясь с самим собой, порывается разгадать тайну. Да, да, мы хотим бро-

ситься друг другу в объятия. "Они на шкафу" даже напряглись, словно готовясь к прыжку. Хотим броситься, но не можем... Может быть, они там опять уговариваются убить нас. В это время с мертвой птицы встает бледная, изможденная Лада. Она — одна, не отделенная. В ее руках — бокал вина. Она медленно обходит каждого из нас, настоящего, целуя в губы. И те, на шкафу, точно замороженные ее неземной нежностью, начинают белеть, исчезать и со свистом входить в нас настоящих. К нам понемногу возвращается сознание; но это далеко не все; мы сидим полуоглушенные; а там, на шкафу, видны еще бледные контуры нас самих.

Мариус: На этот раз было слишком ужасно... Почему ты не поцеловала нас раньше?

Лада: Какой был смысл?... Я сама чуть не погибла, отделившись. Мне нужны были силы и время, чтобы собрать в единый порыв, в единые три поцелуя, всю свою нежность... потому что только такой сверхчеловеческой, потусторонней нежностью, которая граничит с безумием, можно было смирить их... или, вернее, те мрачные силы, марионетками которых были те, на шкафу...

Я (потрясенный): О, это не был поцелуй женщины!

Лада (смеется): Поцелуй только женский может воскресать лишь...

Существо № 8 (бормочет): О, наша колдунья... Гав, гав...

Мариус: А те призраки все еще сидят на шкафу.

Лада: О, не будем обращать на них внимания; они такие бледные; и скоро исчезнут; правда, один чего-то урчит.

Я: Ха-ха... А предметы опять начинают подмигивать и перевоплощаться. Значит, дело идет к затишке.

Мы все понемногу успокаиваемся. Только наши призраки на шкафу начинают млеть и, извиваясь, целовать стенки, как будто они лезут на них.

Где-то за окном, увитым змеями, появляются безразличные, говорящие сами с собой фигурки людей.

Предметы меняются нежно, осторожно. Ладочка странно корректирует их изменения движениями рук.

Но во всем чувствуется болезненность, как после тяжелого приступа. Даже какая-то постоянная, вечная болезненность. И все-таки что-то начинается, вздрагивает, происходит. Словно непрерывно Кто-то Большой и Невидимый варит свое вечное, мировое месиво. Пространство вдруг наполняется нашим растекшимся, унылым и безразличным полем сознания.

И мы точно бродим в своем, ставшем индифферентным и огромным разуме. И только внутри нас, его самые родные, последние остатки борются с неизвестным.

Иногда с визгом проносятся какие-то сгустки наших прежних мыслей; затем юркие, слабоумные, оторвавшиеся и теперь странно существующие сами по себе, наши похоти и ассоциации.

– Они дерутся, – обиженно сказал Мариус.

– А нам на все плевать, – махнуло "рукой" существо № 8.

И действительно, это не было так катастрофически ужасно, потому что рядом жила Лада.

Может быть, она была для нас отделившаяся нежность Творца...

И мы, ни на что не обращая внимания, говорили только о ней, думали только о ней, и она присутствовала в нас даже тогда, когда наши мысли были заняты другим. Сумеречность и высшая внереальность наших отношений усиливалась еще тем, что у нас, точно мы

были не от мира сего, полностью отсутствовала ревность. Но главное – везде, во всех уголках нашей души, была разлита атмосфера нездешней, немного даже истерической нежности; это был то тихий, тайный, то надрывный, поющий поток Нежности, который ни разу, ни на одну секунду не прерывался ни грубым словом, ни холодом рассудка, ни жестом, ни невниманием. И именно эта страшная непрерывность, точно указывающая, что нет сил выше этой нежности, создавала такой торжествующий, вечный, замкнутый в себе духовный сад. Это было состояние какой-то бредовой влюбленности.

Лада: Ну что же, друзья, еще далеко не все конечно; и, смотрите, наше прошлое растеклось по всему пространству; оно грозит, оно есть.

Мариус: Ну и пусть. В конце концов мы тоже прошлое.

Я: Ладочка, тебе удобно; что за черт притаился там, у тебя под боком?

Лада: Да он полумертвый.

Существо № 8: Болит голова.

О, это состояние бредовой влюбленности воздвигало реальную, хотя и до боли в сердце хрупкую стену между нами и полной катастрофой.

Каждый словно прятался в душе Лады, прикасался к ней, спасаясь от судорог распада. В то же время каждый из нас хотел умереть в ней, видеть себя в ней мертвым, видеть в ее теле свой синий, поющий неслышные песни труп... Вся наша душа горела и оживала – когда мы касались Ладиных рук, мыслей, улыбки. А она называла нас "недобогамии" и, ничего не делая, спасала нас.

В конце концов мы, пьяные от наших оторвавшихся мыслей, от этого визга, от то и дело появляющихся

дурных, но не имеющих ни к кому отношения призраков, часто думали: какую связь имеет этот распад с нашей потусторонней влюбленностью? Этот бредовый дуализм совершенно расшатывал нас.

– Смотрите, смотрите, – вскрикнула Лада. – Я погрозила им, и они скрылись... Ваши двойники на шкафу... Только от призрака Мариуса осталась одна рука, которая машет нам из пустоты... Прощайте, прощайте, невидимые!!

Я: О, какой высокий... Вот этот в углу... Мариус, подойди сюда... Ты знаешь, около него невозможно жить. Становишься истуканом, играющим сам с собой в прятки.

Лада: А есть кому скрываться?

Существо № 8: Мы и так скрыты.

Мариус: Скоро будет другая жуть.

Когда наступала эта другая жуть, я часто думал: было ли распадом то, что происходило с нами?? Может быть, мы просто были платформой для чудовищной пробежки других сил??

На этот раз она была последняя. Ладочка всегда начинала светиться, когда чувствовалось приближение. Она становилась как сомнамбула, ходила среди нас, как в слепоте, и, улыбаясь, спрашивала: "Это Дориос, это ты Мариус, это ты существо № 8?" Точно она всеми силами старалась что-то сохранить в себе... для нас... Ее лицо блуждало и улыбалось неизвестно кому. Иногда только мы присаживались, чтобы выпить вина.

Скоро стало совсем непонятно: то ли мы были пылинками, то ли мы были богами?

Мигом все внешне бредовое: меняющиеся предметы и тот высокий – убралось, точно скатившись, и спряталось неизвестно куда... Может быть в нас... И

вот тогда-то существо № 8 залаяло. О, нет, мы не могли ему помочь! "Это" – внутри – распирало нас так, что мы были сами по себе. Только наша прежняя влюбленность связывала нас с бытием. Я не помню, сколько раз поцеловала меня Лада. И вечная потусторонность этих поцелуев, в которых не было даже намека на удовлетворение, возносила меня над разрушающимся земным сознанием.

Но куда? Можно ли связать нежность с метафизикой? Для нас это был праздный вопрос. Ибо только светящаяся нежность, исходящая от Лады, указывала нам выход из этого мира...

А нас разрушало и разрушало. Я не только чувствовал, что вот-вот лопнут сосуды в моем мозгу, – но и странные, чудовищно-игривые силы выталкивали меня из себя... Другие, внешние силы, словно белым саваном накрывали мое сознание, и оно барахталось в невидимом, как мышь в руках Бога. Иногда само мое сознание становилось грозным и раздутым и точно ожидало конца самого себя, распуская вокруг последние флюиды. То какие-то совсем враждебные Власти поднимались со дна моей души и, как поднятая кровь в сосудах, бились о стенки моего "я", пытались разорвать его в клочья. Иногда – прямо во мне, а не в углу, как было раньше, – возникал этот высокий, и тень его поглощала мое бытие...

Но эта бредовая влюбленность! Она жила, она существовала... Как в тумане, Ладочка проплывала мимо нас... И хотя внутри нас самих бушевали таинственные, точно спущенные больным богом силы – ее улыбка опять зачаровывала нас, и весь этот жуткий мир окутывался призрачной, не спасительной пеленой. Странная метафизичность этой нежности поднимала наше сознание над бушующим морем непонятно-

го... Ее нежность точно говорила: я тоже непонятна, но моя непонятность обращает смерть в торжество.

А чем была та, другая, непонятность?

Увы, она была нашей гибелью.

Я взглянул на Мариуса: он почернел и существовал только как равновесие выталкивающих его сил.

Внезапно стало темно и все ужасающе притихло. Наш мир вдруг принял вид пыльной, старомодной комнаты, но в которой по углам, как холодные лампы, стояли застывающие, бывшие призраки. Несмотря на странно-обычную обстановку, нас поглощало ощущение исхода, точно бредовое для завершенности сгустилось в обычное и готовилось к последнему прыжку.

Вдруг раздался сломленный голос Лады:

— Все кончено, друзья... Волею судеб у меня иссякли силы... Вы никогда не спасетесь... А я исчезну... Потому что так свершилось... Я буду, может быть, солнцем, может быть, травой, может быть, даже женщиной, но никогда не буду Ладой, вашей Ладой... Да, у нежности тоже иссякают силы... Этого знака, этого символа мало, чтобы победить такое... Нежность не соединима с познанием, но ведь и познание без нежности мертво... Мы в круге... Нежность не соединима ни с чем, и в этом ее гибель... Она нужнее всего, но она неуловима... Прощайте, я, Лада, гибну... Если вы когда-нибудь и увидите меня, даже перед самым концом, — это уже буду не я.

И она исчезла. Мы остались недвижно лежать и грезить в темноте, покрытые с головой тяжелым, пропитанным трупными выделениями сукном, которым накрывают мертвых.

Только вместо существа № 8 в кресле лежал съездившийся портфель; в нем были оборванные листки: записки сумасшедшего.

ГОЛУБОЙ ПРИХОД

Не было ни снов, ни кошмаров, исходящих из плоти, ни тупого ощущения смерти, которой нет, ни страха, выворачивающего внутренности. Просто Григорий знал: надвигается ужас. Якобы все оставалось дома на месте: дома-коробки, равнодушные к своему существованию; солнце в пустом небе; трамвай. Но в мире появилось нечто, имеющее отношение только к Григорию. Поэтому остальные ничего не замечали. Оно было скрыто, но, казалось, все вещи в миру, даже сам воздух, были лишь его оболочкой (или завесой?!). Да и то, главное было не в этом. Главное стало в сжимающейся душе Григория... Но почему она сжималась?! Может быть, что-нибудь неизвестное входило в нее, и она опустошалась?! Но зато многое выражалось в его глазах. Они, сами по себе маленькие, выкатывались, и на их поверхности соединялись такие слезы, водяные тени и испуг, что и сумасшедшие могли бы сойти с ума еще раз. А как подпрыгивал Григорий, ведомый своими глазками!! Ноги он расставлял в стороны, широко, как лягушка; и затем прыгал вперед, в пространство. Официанты одобрительно смеялись, глядя на эти сцены. Волосы у него при этом поднимались вверх, как у Мефистофеля.

Но на самом деле эти прыжки вовсе не выражали ужаса Григория, напротив, скорее это было его веселие, может быть, просто развлечение, в котором он отдыхал. Сам ужас ни в чем не выражался. Точнее, пока еще в полной мере ужаса не было, было только его приближение. Но и оно было невыразимо, так что обычный ужас стал веселием по сравнению с этим.

Григорий очень полюбил обычный ужас с тех пор, как "оно" стало надвигаться. Как веселый поэт, он несколько раз бегал из конца в конец по длинному мосту, поднятому высоко над рекой, и все время заглядывал вниз, в бездну. Туда, как всегда, манило, и все создавало комфорт для бессмертного прыжка вниз; и теплый летний ветерок, и зелень лесов на берегу, и синее солнечное небо, и томная гладь реки. Но Григорий, который раньше боялся смотреть вниз даже со второго этажа, теперь хохотал, глядя в эту смерть на лету. Он скакал по краю моста, как бессмысленная и радостная птичка. Только что не было крылышек. Дома сжег все, что написал за десять лет. Прогнал жену, которую любил изнутри. А глаза все наполнялись и наполнялись приближением, которое ни в чем не выражалось, но, вместе с тем, вытесняло и страх, и слезы, и водяные тени. Глаза становились не глазами.

Чем же стали его глаза?! Но никто их, по существу, не видел.

– Привидение, привидение! – правда, закричала одна маленькая девочка.

Но она была слишком слаба и могла принять хоккейную клюшку за призрак.

Кошки и те не разбегались от глаз Григория. Да и он стал смотреть в одни стены. Ожидая, что там появятся знаки, пусть почти невидимые, на камнях, на стекле, в самом воздухе, между сплетающимися цветами на подоконниках. Он, правда, их так и не увидел, но ему казалось, что некоторые – тихие, без шляп – грозили пальцами, туда, сквозь розы. Но тот, другой знак, который видеоощущал Григорий, был абсолютен. Он был во всем. И на исходе третьего месяца Григорий стал трястись мелкой такой, абст-

рактной и непрерывной дрожью. Члены отрывались от головы, которая холодела.

И тогда в его глазах вдруг появилось последнее выражение предчувствия. Оно явственно говорило о том, что ужас скоро грядет. Иными словами, приход совсем близок. Приход, который относился только к Григорию, приход, который вызывает в душе его только ужас, но без всякого осознания, кто и что придет.

Стал подпрыгивать, бить себя палкой по голове. Как сладка бывает человеческая боль!

И внезапно захохотал! Утром, когда весь мир был погружен в сон. О, это был не тот хохот, когда он глядел в бездну! Это был непрерывный тотальный хохот, не прекращающийся ни на минуту, ни на вздох. Да и по сути иной. Правда, в нем слышались светоносные рыдания, приглушенные, однако, волнами смеха.

Кроме рыданий слышалось также безразличие, котрое тоже заглушалось хохотом. А за далью безразличия был холод, который проникал еще дальше, в сам хохот, но тоже был им отодвинут, чуть отзываясь ледяным безумием в раскатах этого смеха. Но хохот был выше всего. Он покрывал саму смерть, возвышался над нею, как мрак. Таким хохотом можно было бы захохотать Ангелов.

Шел третий час такого непрерывного хохота. Григорий был один в своей комнате. То ли он сидел, то ли застыл в невиданной позе?!

Но он целиком ушел в высший мрак своего хохота.

Вдруг кругом стало стремительно светлеть, словно весь мир превращался в светло-призрачный. Сознание разрывалось, на мгновение переставая быть, и что-то

незнаемое и вошедшее в его душу сразу уходило вверх, в небо, а что-то оставалось здесь, в душе... Как в вихре, он изменялся, ничего не понимая...

Очнулся он одиноким. Никакого ужаса не было. "Когда же будет приход?" – подумал он. И сразу почувствовал, что его уже не терзает это. Сонно и светло оглядел он комнату, дома за окном, часы у стены. "Наконец-то все в порядке", – решил Григорий.

Везде, действительно, был порядок. И сам он светился. Дома были не дома, стены не стены. Душа словно превратилась в ледяную глыбу. И глаза, видя, не видели. Какой-то занавес рухнул.

Не было и привычных дум о смерти.

Но зато стало так странно, что исчезло само понятие о странности, а ее реальность превратилась в обыденность, не теряя при этом ничего.

– Да во что превратилось мое тело? – спокойно подумал Григорий.

Точно оно стало душою, а душа превратилась в тело.

Он вышел. Люди казались теньями, шум их небытия уходил в потустороннее этому миру. Все вроде бы чуть-чуть сдвинулось. Но внутри него было не "чуть-чуть", а то, о чем нельзя было даже задавать вопросов. Неба как будто не было, точнее, все превратилось в небо, в котором плыли осторожные призраки – прежние люди, твари, дома.

И тогда Григория охватила белая, пронизывающая радость – радость оттого, что все умирает, что все в полном порядке...

Радость вне судьбы и всего того, что происходит... Радость помимо существования... Она выбросила его в ближний переулочек... Он плыл вперед. И внезапно –

за оградой, в саду, у стола со скамейкой, в стороне от старинного дома – он увидел существ. Они были белые, высокие, светящиеся, с узкими, длинными, как свечи, головами, уходящими ввысь, словно растворенными в небе. Они как бы плыли, в то же время ступая по земле, и светло белели подавляющим крайним бытием.

Их оторванность ото всего больно ранила Григория. Он дико закричал, – хотя какой может быть крик в том мире, где царит полный порядок! Этот крик не изменил его, и он остался кричать, как цапля, повисшая над озером. Для существ ничего не существовало, что было ему знакомо...

– Боже, как он высок, как он высок! – застонал "Григорий", указывая на одно. – Что они "делают", что "говорят", что "думают"?!! ...Есть ли между ними нить?!..

И он стал пристально, тихо прижавшись к дереву, вглядываться в них. Какое счастье, что они и его не замечали! Выдержал бы он их внимание!?

Призрачно-странный порядок – тот, который появился после его пробуждения – неожиданно разрушался, чем больше он вглядывался в существа. Может быть, он просто заполнял собой все. Его душа росла и росла по мере того, как он иступленно глядел на них. А они, видимо, не замечали его, оторванные ото всего, что прежде было реальностью. Они плыли мимо себя, постоянно пребывая в себе и в чем-то еще.

– До какой степени они вне? – думал Григорий телом и был не в силах оторваться от них взглядом, хотя эта прикованность все изменяла и изменяла его (по ту сторону спокойствия и тревоги), с каждой минутой все мощнее и скорее, и он быстро терял

возможность остановиться и выйти в прежний белый покой, в котором – строго говоря – не было никакого покоя.

И тогда он увидел круг. Один большой светлый круг над миром, круг, ранее им не видимый, но который, в сущности, был не видим им и теперь – для тайно возникшего в нем интеллектуального света – так как был навеки скрыт ото всего своей белизной.

И тогда Григорий опять закричал. "С ними я могу... С этими лицами! – он посмотрел на существа. – Но в этом круге я исчезну! О, зачем, зачем?!"

И он закрыл глаза, чтобы не видеть холодно-ослепительного божества.

Но существа вдруг открылись. Он понял, что есть нить – нить между ним и ими.

Ему даже показалось, что тот высокий сделал еле заметное движение, чтобы призвать Григория к себе – как собрата. Григорий двинулся навстречу – туда, к существам. И в ответ сознание его окончательно рассыпалось – рассыпалось на чуткие, безмянные искры, которые летали в пустоте, как от костра.

На мгновение он ощутил себя блаженным идиотом, который с высунутым языком наблюдает полет своих слюн. Но в то же время распавшееся сознание обнажило пустоту – белую, странную пустоту внутри него, которая сразу стала оживать и шевелиться. И ему почудилось, что он уже может общаться с этой пробужденной пустотой, ставшей белой, с теми светлыми, плывущими над измененным миром существами.

Может быть, он уже "говорил" с ними. Но исчезающая привычка осознавать мешала ему войти в новый мир – вернее, помешала на секунду... Искры вспыхнули и погасли...

И когда Григорий подбежал к существам, он уже был не Григорий... Он только весело вертелся посреди – словно помахивая хвостиком – под непонятным и холодно-зачарованным свето-взглядом, исходящим от их тел...

ВАНЯ КИРПИЧИКОВ В ВАННЕ

Нельзя сказать, что обитатели коммунальной квартирки, что на Патриарших прудах, живут весело. Но зато частенько их смрадная, кастрюльно-паутиная конура оглашается лихо-полоумным пением и звоном гитары, раздающимися из ванной. Это моется, обычно подолгу, часа три-четыре, Ваня Кирпичиков, давний житель квартиры и большой любитель чтения. Больше за ним никаких странностей не замечали.

Предлагаем его записи.

Записи Вани Кирпичикова

Иные людишки, особенно которые не от мира сего, все время говорят мне: чево-то ты, Ваня Кирпичиков, так долго моесси в ванне. А я им, оскалясь, отвечаю: оттого что тело свое люблю. И верноить, ванна наша грязная, никудышная, клозет рядом, а тараканов и крыс, как баб на пляже, так что окромя моего тела там ничего интересного нету. Правда, освещение палит, как все равно свет в операционной, но это для того, чтобы тело видней было. А в теле-то и весь смак... Я на собственное тело, как кот на полусумасшедшее масло смотрю... Вроде вкусно, но чудно больно.

Но начну впервой, по порядку.

После работы, когда я, через каждый дѣн, заграбастав одежонку погрязней – я, читатель, люблю, из ванны вылезая, во все грязное одеться, так противуречия больше – так вот, заграбастав одежонку, с гитарой под мышкой, шныряю я по нашему длинному коридору в ванную.

Соседи, как куры глупые, уже сразу волноваться начинают.

– Наш-то уже в церкву свою безбожную побѣг, – говорит обычно старушка Настасья Васильевна.

А я, Ваня Кирпичиков, уже из ванны, запершись, иной раз крикну: "Душу, души трите, паразиты!" Потом уши пухом заткну, чтоб не смущали меня всякие собачьи вольности и крики. Разденусь и брык – в воду. Вода для меня, что слезы Божьи, ласкают, а все равно непонятные. Но каюсь, опустил, опустил... Таперича я этим мало занимаюсь, больно страшно... Но раньше бывало... Прежде чем воду напустить, я, бывалоча, ложусь в сухую ванну без воды, голышом, и, раздвинув пасть, со смешком в единственном моем глазу люблюсь чудесам тела своего... Если и ржу, то громко на всю квартиру... Мне стучат, а я еще громче кричу, потому что в пухе-то я совсем обособленный...

А чудес на мне видимо-невидимо... Ежели взять например волосье, так что ж я по Божьему пониманию всего-навсего лес дремучий?!. Ха-ха... Меня не обманешь...

Еще люблю язык свой в зеркалах разглядывать... Иго-го... Больно большой и страшный, как сырое мясо... А какое я, Иван, имею отношение к сырому мясу. Во мне душа во внутренях – а не сырое мясо. Часто, положив, помню, ногу на ногу, я в другое мясо свое, на бедре, долго-долго вглядываюсь.

– Ишь, мясо, а ведь не скушаешь, – подмигиваю глазком своим.

Иногда лупу возьму и через нее в ногу всматриваюсь – извилин-то сколько, извилин, а еще профессора говорят, что они только в мозгу... Я те дам в мозгу... Я сам себе доктор. Было дело, правда, один раз я забыл, что я доктур и совсем дошел.

Взял я тогда с собой в ванную вместо гитары ржавый столовый прибор и решил самого себя съесть. Я ведь иной раз бываю религиозный. Что ж – думаю – кур жрём, а до себя не дотрагиваемся. Не ладно это, Иван Пантелеич. Дело было к вечеру, тихо везде, спокойно, даже птички щебетать перестали. Им-то что, птичкам. Они себя не едят. Потому как нет у них разума.

Так вот, помню, разлегся я тогда в сухой ванне, нож о зубы свои как следоваить поточил... И нет чтобы тихо все сделать, по-интеллигентному, по-товарищески, общипать там мясо на ляжке, приглядеться, обнюхать, облюбовать – нет, раз! как саданул что было сил в ляжку... Крови-то, крови потекло, хоть святых выноси... Я и облизнуться не успел. Изогнувшись по-обезьянному, я все-таки припал. И радость-то велика, Ваня, собственную кровь пить! По губам у меня все текло, неповоротливый я такой, словно простуженный. Кровь-то в мое горло так и хлещет, в животе, как в берлоге, тепло, а я думку думар: боевой ты, Ваня Пантелеич, – думаю – Бонопарте, – и почти поэт... Я в еной крови как бы сам из себя переливаюсь... Из ляжки – в горло... Круговорот природы, игра, так сказать, веществ... Ване Пантелеичу бы по этим временам у руля Всяленной стоять, с звездами перемигиваться... Их... Только помню ослаб я тогда. Ванна в крови и в каком-то харканьи...

Встаю, еле подштанники одел – и в коридор, к народу! Вид у меня, правда, был дикой, окровавленный, тело голое, как в картине, и глаз блуждает... Но ничего, народ – добрый, подсоблять начал. А я кричу: ”Я уже нажрамшись, спать теперь хочу... Ишь, ангелы”...

Вот такая была история. Рана потом зажила. Но этот случай стал, можно сказать, экстренный. Снова я себя так неаккуратно не ел. Иной раз только кулак в рот засунешь и сусешь для воспоминания. Но больше я теперь к телу своему отношусь умственно, с рассуждением... Пугает оно меня. Иной раз вот ляжу, ляжу в сухой ванне – час, другой – все в тело свое пристально, как етот, инквизитор, всматриваюсь... Мозга почти не работает, только удивление так шевелится, постепенно, часами: ух – думаю – тело какое белое, а закорючками, загадочное, ух и чудеса, чертова мать, и почему нога впрямь растет, а не вкось... Ишь... С одной стороны вижу ево – тело – как предмет, как тумбочку какую чужую... с другой стороны ево чувствую изнутри... Ишь... Так гул-то во мне нарастает и нарастает, я глаза на тело свое пялю, пялю, да вдруг как заору. Выскочу из ванной, дверь настезь и бегом по коридору. Это я от тела своего убежать хочу... Бегу стремглав... А сам думаю: ха-ха, тело-то свое ты, Кирпичиков, в ванне оставил... Ха-ха... Скорей, скорей... Беги от него... Надоело ведь... Ошалел от него, проклятого.

Соседи во время этих историй на крючки запираются. А я свет погашу и в шкаф плотный такой, с дверцей, забьюсь: от собственного тела прячусь. Как бы еще не кинулось, не придушило меня, ненормальное... Я из шкафа тогда, граждане, по два дня не выхожу. Даже молитвами меня оттуда не выманешь.

И то, правда, было со мной одно происшествие, не пойму, то ли во сне, то ли наяву. За мной собственное тело, голое, с топором по улице гналось. Я бегу – а оно за мной. "Караул – кричу, – куда милиция смотрит!"

Так вот, бежим мы, бежим – я с криком, а тело молча, за мной, мимо старушек сиворылых и всяких оглушивающих вывесок. Народ на нас – ноль внимания, только одно дитя рот разинуло. Я вижу – спасу нет; юрк в подворотню и в – помойный бак. Сознание у меня совсем неприятное сделалось. Жду. Вдруг стук о крышку помойную. Обмер я. Потомуч крышка приоткрывается и вижу я – харю тела моего, на меня смотрящую... Ну я туда, сюда... Съезживаюсь... И вдруг – чмок! поцеловал тело мое в губки. И знаете, разом сняло! Тела уже не было, тело стало при мне, спокойное, как у всех. Я из бака остороженько так вылез, огляделся на Божий свет и покачал головой: "И какую же только хреновину Создатель на этом свете не выкинет... Ишь, проказник". И удавил маленького, тщедушного котенка... Ну а вообще-то я веселай... Не всегда, не всегда Ваня Пантелеич так кондов. Я ведь побаловаться люблю. Но только не в сухой ванне. Я уже говорил, что вода – как Божьи слезы. Когда я гнусность свою – телеса – окунаю в эдакое теплое пространство, то я совсем сам не свой делаюсь. Точно меня Душа расслонявила. И весь я от мира – водичей этой – огороженный. Мыслишек никаких, но зато слух – на радость и на полоумие обращен. Оплескав слезками мира сего тело свое драгоценное, наглядевшись, нанежив клетку каженную, я ручищу протяну – и с табуретки гитару – хватать!

И улыбка-то на мне тогда Божья, как все равно у

князя Мышкина. Прямо до ушей. Но громкая. Треть тела моего с головой — вне воды, в руках мускулистых — гитара... И как зальюсь, как зальюсь, бывалочи, песнею... "Не брани меня, родная, что я так его люблю" или "Не могу я тебе в день рождения..."

Так что гул по всей квартире стоит. Полицию вызывали, но я от всех диаволов водицей этой завсегда огороженный.

Но хватит, хватит об этом, братцы. Я ведь идти к концу хочу.

А недавно я на все плюнул.

Посоветавшись — смеха ради — со старым корытом, висящим у нас в ванне, я насчет тела своего точку поставил. Нет у меня тела — и все. А что же я тогда мыть буду?

И решил я тогда, Ваня Кирпичиков, мыть вместо себя вешалку. Куклу на нее драную, без личика, для видимости одел — и все.

Сам на тумбочке голый сижу, в темноте, иной раз песенку заунывную завою — но вешалку полоскать полощу, водицей горячей брызну. И словно я теперь становлюсь загробней. Нет у меня тела — и все. Вместо тела — вешалка, которая там, не у меня, а в ванной. А я сам по себе, холеный такой и высокоумный. Соседи ничего не понимают, а я все отдаляюсь и отдаляюсь.

И чудно — как тело свое я таким путем от себя отдалил, грусть у меня сразу пропала. И тело мое стало спокойней: с топором за мной уже не гоняется. Знает — я ему честь отдаю, в ванне мою. В шкаф я больше не прячусь, знаю, знаю покой для меня наступает на свете. А то раньше: лишь в комнату свою зайду, то под стол загляну, то под кровать — не прячется ли где с ножом мое тело?! Все ведь от него можно ожидать, одичавшего.

Но теперь спокойней, спокойней. А когда во вне спокойно, никто тебя не тревожит, съест не хочет – я теперь никогда не порываюсь, читатель, себя съест; пропало все, не пустоту же есть – когда во вне спокойно, то и в душе весело-весело и все на дыбы становится.

А вчера я с телом своим навсегда расстался: помыл вешалку как следовало, поцеловал словно мать родную, простился – и все разом сжег. В ванне. В сухой. Огонь так и полыхал из окон. Прямо на улицу... Пожаром.

...О, Господи, какое во мне спокойствие. Таперича Ване Пантелеичу большие дела предстоять.

ХОЗЯИН СВОЕГО ГОРЛА

Этот человек жил в затемненной, сумасшедшей комнатухе, разделенной висячими, полурваными одеялами на четыре равные части.

В каждой части жила своя отъевшаяся салом и заглядывающая в пустоту семья. Только в одной, задней части, куда солнце проглядывало только через рваное одеяло, – жил он, Комаров Петр Семенович, хозяин своего горла. Формально это место называлось общежитием, а на самом деле было скоплением мертвых, без всякого потустороннего выхода, точно застывших душ. Но Комаров не входил в их число. Раньше он любил на гитаре играть, малых деток ведром с помоями пугать. Но сейчас – все это позади. Свое новое, импульсивное существование Комаров начал с того, что неожиданно, столбом, упал

на колени и так долго-долго простоял в своей конуре за колыхающимся одеялом.

Уже тогда эти тени мелькали у него на стене. Но сумеречно, вернее, это были тени теней. Главное – находилось в нутре.

С этого момента Петр Семенович почувствовал, что он становится хозяином своего горла. Точнее, он теперь понял, что его сознание предназначено и появилось на свет для того – и только для того – чтобы ощущать это горло и жить его внутренней, в некотором смысле необозримой жизнью.

Поднявшись наконец, Петр Семенович засуетился и, подхватив сумку, поскакал на работу, в учреждение, где учитывались свиньи и прочий скот.

И сразу же он почувствовал неудовольствие, чего раньше с ним никогда не случалось. Именно: ему стало неприятно, что он настраивает свой интеллект на все эти учеты и прочие размышления, в то время как он – интеллект – теперь должен быть предназначен только для горла.

Просидев часика два, Комаров не выдержал и, схватив со стола часы, убежал.

Пришел домой в несколько взбудораженном состоянии. За одеялом раздавался угрюмый вой; кто-то большой и голый ползал по полу, заглядывая в соседние, отделенные одеялом "комнаты".

Закутавшись в другое, спальное одеяло, Комаров лег под кровать, что он делал всегда, когда хотел создать видимость своего отсутствия. Конечно, не только для людей.

Взял в руки Библию и стал читать. Но опять поймал себя на огромном, неизвестно откуда взявшемся сопротивлении. Его вдруг снова стало раздражать, что приходится использовать сознание для ненужно-

го, несвойственного ему дела. Точно он испытывает свой дух не по назначению.

В конце концов Комаров скрутился калачиком и задремал, погрузив свое "я" в горло. Чудесные картины открывались ему! Порой ему казалось, что его горло распухает, приобретая дикие размеры, уходящие в загробные миры. И он сквозь красные прожилки своей гортани видел немыслимые, беспорядочные реалии: Божество, бегущее с ведром за курицей, некие линии, и мышонка, запутавшегося в сплетениях Гегелевского духа.

Но внешнее мало интересовало его: иногда этот, виденный им, загробный мир казался ему просто загробным сном, более соответствующим, правда, своей действительности, чем обычно земной сон — своей.

В целом он весь жил этим горлом. Нырнул своим "я" в его кровь, и его сознание как бы плыло по крови, как человек в лодке по реке. Шептался с шевелениями своих жилок; заглядывался на их бесконечную красоту.

— Что, кашлять изволите, Петр Семенович, — вернул его к так называемой реальности человеческий голос.

Толстый голый мужчина в тапочках — сосед — сидел у него на кровати и играл сам с собой в карты.

Петр Семенович показал с пола свое бледное, изможденное течениями лицо.

— Тсс! Никому не говорите что я у вас, — приложив лапу к губам, проговорил сосед. — Меня ищут. Но ребенок запутался в одеялах.

Комаров смрадно выругался, чего раньше с ним никогда не бывало, и неожиданно ущипнул толстяка в задницу. Тот, перепуганный, что-то прошипел и на четвереньках пополз в соседне-одеяльную комнату.

Вообще, действительность рушилась.

Комаров теперь ясно видел, что мир не имеет никакого отношения к его сознанию, особенно как некая цель. Цель состояла в горле.

Идя по этому пути, Комаров бросил свою карьеру в учреждении по учету свиней. Он вообще перестал работать. Неизбежную же пищу он добывал на огромных, величиной, наверное, с Германию, помойках, раскинувшихся за чертой города.

Существовать так не представляло труда, но Петра Семеновича все время смущала малейшая направленность его сознания на "пустяки" или "бесполезность", то есть, иными словами, на мир.

Рано утречком — еще соседи колыхали своим храпом одеяла — Комаров бодренько, обглодав косточку, выскакивал на улицу и замирал в изумлении. Божие солнышко, травка, небо — казались ему противоестественными и ненужными.

"Надо жить только в горле", — думал Комаров.

Даже от его бывшего увлечения молоденькими женщинами не осталось и следа.

Он пытался также сократить прогулки до помоек, набирая свою относительную пищу на целые дни. Впрочем, и во время этих встреч с творением, он наловчился так погружать свое "я" в горло, что фактически вместо мира ощущал темное пятно. Он брел как слепой.

И все-таки все реже и реже он выходил на улицу.

Только высокие, пестрые, уходящие в потолок одеяла окружали его. Иногда он видел на них смещения цвета.

Рев, доносившийся из соседних "комнат", уже не понимал его. А голый мужчина больше никогда не заглядывал к нему.

Скрючившись, Комаров жил в горле.

Он уже явственно ощущал в своей глотке пустоту, потому что его сознание ушло в сторону. Иногда, закрывши глазки, он издавал какие-то беспрерывные урчания, звуковые липучки, просто нездешние звуки.

Но, в основном, была тишина.

Комаров видел перед собой внутреннее существование своего горла, — эту радостную непрерывную настойчивость! Его "я" барахталось в горле и было как бы смрадным осознанием каждого его движения, глотка. Внутренними очами он видел весь безбрежный океан этих точек, кровеносных сосудов, мигающих неподвижностей. Плавал по их длинному, уходящему ввысь бытию. И его потрясало это настойчивое, уничтожившее весь мир существование.

Редко, протянув руку за кружкой, он отпивал глоток холодной воды, чтобы смешать ее с этим новым откровением. Тени теней на стене становились все более грязными и видимыми. Они сплетались, расходились и уходили в другой мир.

Иногда нависали над комнатой.

Его больше всего удивляло, что же сделалось с сознанием?

Оно превратилось в узкую точку, больную своим непосредственным великим существованием. Это противоречие смешило и раздражало его.

Но наконец он смирился с ним.

Он видел даже цвет своего сознания, погруженного в горло... Оторванное от своего прежнего существования, оно жило новым миром.

И вдруг — все это неожиданно разрешилось. (За его комнатой, кажется, колыхались ватные одеяла). Сначала он умер. А потом, а потом — вот он был

выход, который он так ждал, который он так предчувствовал!

Его душа, оторвавшись от жалкой, земной оболочки, ушла. Но так, что обрела невиданную, страшную устойчивость, почти бессмертие — потому что в ней, в душе, не было ничего, кроме отражений жизни Комарова в горле.

А тело Комарова выбросили на помойку; кто-то заглянул ему в рот и увидел там, в глубине, изъеденные, черные впадины.

НОВЫЕ ПРАВЫ

Однажды одна маленькая изощренная старушонка со спрятанными внутрь глазами нагадала мне по ладони, что у меня оторвется нога.

Уже через месяц я лежал в своей притемненной комнатушке на диване без одной ноги и брэнчал на гитаре. Отрезало мне ногу пилой, сорвавшейся с цепи.

Наконец, отшвырнув гитару, я почувствовал, что меня во что-то погружают. Это "что-то" было поле измененного смысла. Сначала я просто думал, в чем же смысл того, что у меня отрезало ногу. Ведь раз это стало известно заранее, значит, это было кем-то задумано, да причем очень ловко. Но чем больше я думал о смысле, тем больше он уходил от меня, и всякие приходившие в голову объяснения казались наивными и человеческими. И вместо смысла оказывалось просто непознаваемое поле, как будто смысл был навечно скрыт, но видна была его тень, которая погрузила меня в темноту.

И я жил теперь в этом измененном мире. Мне было очень страшно и тоскливо в нем. Поэтому я опять стал брэнчать на гитаре, свесив одну ногу. Выпил чаю и с помощью костыля стал вертеться по комнате, развешивая по стенам картины. Холод глядел мне в окно.

Надо было куда-то идти, далеко-далеко. Выйдя в коридор, я удивился, что там все в порядке. И заковылял по улице к Иван Иванычу.

Иван Иваныч жил одиноко в небольшом, уютившемся на земле домике. Кусты отделяли его от улицы. Постучал. Мне долго не открывали. Наконец послышался шум, и из приоткрывшейся двери вылез сам Иван Иваныч – уже давно темный для меня мужик.

– У меня есть гость, – сказал он, словно бросив в меня свое обросшее, в волосах, даже на глазах, лицо.

Прошли к нему. За столом в невиданной своей простотой комнатенке сидел гость – чуть-чуть юркий, точно выпрыгивающий из самого себя человек. Был приготовлен, но еще не начинался чай. Сахарница, чашки, блюда были прикрыты.

И сразу начался интересный разговор. Сначала, правда, так, ничего себе: о погоде, о Божестве, о туманах.

Потом гость вдруг говорит:

– А ведь вот не зажарите вы меня, Иван Иваныч.

А Иван Иваныч со словами: "Вот и зажарю" – возьми и подойди к нему спереди – и бац топором по шее. Топор как-то вдруг сразу у него в руках появился. Я, конечно, присмирел и очень долго-долго молчал.

Иван Иваныч тем временем – он был в ватных мужицких штанах – кряхтя, обтер топор, подмыл пол, тело покойника вынес куда-то и – было слышно по стуку – выбросил в подвал, а мертвую голову его, напротив, положил на стол.

– Ну как, чаевничать начнем? – строго спросил он меня, ворочая нависшими бровями.

Я не отказался.

Тем более, что мир все изменялся и изменялся, и я не был уже уверен, где я нахожусь. Я раньше считал себя великим поэтом, но теперь мне казалось, что поэтов вообще не существует.

И вид у меня был очень растерянный, даже румянец горел на щеках. Иван Иваныч заметил мое смущение.

– Представь себе такой ход вещей в миру, – сказал он, насупясь, – когда все это совсем как нужно. Просто такой порядок. Тогда у тебя не будет сумления.

Я вежливо хихикнул. До меня вдруг многое стало доходить.

Между тем Иван Иваныч, кряхтя, поцеловал мертвую голову за ушком и потом положил ее, глазами почему-то к стене, обратно.

Нехотя приступил к чаю. Поеживаясь, я тоже прихлебывал терпкий, коренной чай. Так в молчании, как по соседству, прошел целый час.

Я теперь чувствовал этот мир, который начал входить в меня еще с нелепого предсказания о ноге.

Идеи, идеи – вот что меня привлекало в нем. Если убийство человека является следствием просто странных состояний или мыслей, а эти мысли объемлют мир, то все понятно. Странные идеи рождают и странный мир. Только надо, чтобы они приняли форму закона.

Я глядел на добродушного, раскрасневшегося Иван Иваныча, как на потустороннего кота.

Он, видимо, понимал, что со мной происходит, и наслаждался. Наш домик словно по волнам перенесся

из Столичного тупика в скрытое для людей пространство. Мертвая голова лежала прямо около чашки Иван Иваныча; он пил из блюдечка, но вместо того, чтобы – по старому обычаю – дуть на нее, дул на мертвую голову...

...Господи, как это было хорошо. Но все же мне страшно находиться в этом мире. Воет ветер; наш домик носится по волнам, которые нигде не отражаются; одиночество гложет сердце, как и там на земле... Милые, милые мои друзья, приходите сюда ко мне пить чай.

ПОСЛЕДНИЙ ЗНАК СПИНОЗЫ

Районная поликлиника № 121 грязна, неуютна и точно пропитана трупными выделениями. Обслуживают больных в ней странные, толстозадые люди с тяжелым, бессмысленным взглядом. Иногда только попадаются визгливые страстные сестры, готовые слизнуть пот с больного. Но у всех – и сестер и врачей – нередко возникают в голове столь нелепые, неадекватные мысли, что они побаиваются себя больше, чем своих самых смрадных клиентов. Один здоровый, откормленный врач – отоларинголог – плюнул в рот больному, когда увидел там мясистую опухоль.

Вообще люди, непосредственно связанные с больными, имеют здесь особенно наглое, развязное воображение. Те же, кто работает с аппаратурой, рентгенологи, например, – наоборот чисты и на человека смотрят как на фотографию.

Больной здесь – как и везде – загнан, забит и на

мир смотрит зверем. В Бога почти никто не верит. А о бессмертии души вовсе позабыли.

В эдакой-то поликлинике работала врачом-терапевтом ожиревшая от сладострастных дум женщина лет сорока – Нэля Семеновна. Жила она одна в комнате, заставленной жраньем и фотографиями бывших больных – теперь покойников.

Внешних особенностей Нэля Семеновна никаких не имела, если не считать, что нередко среди ночи она высовывала голову из окна, обычно с тупым выражением, точно хотела съесть окружающий ее город.

Вставала рано утром и, потягиваясь, шла на рынок. Иногда ей казалось, что она вылезает из собственной кожи. Тогда она сладостно похлопывала себя по заднице, и это возвращало ей субстанциональность. Окинув рынок мутным, полудиким взглядом, Нэля Семеновна набирала в огромную сумку курей, моркови, картошки, репы. По возвращению с рынка ей всегда хотелось петь.

Пожрав, для начала обычно в клозете, Нэля Семеновна собиралась на работу. Если на душе было добродушно, она шла, покачиваясь в самой себе, как думающая булка, и поминутно глядела на витрины; если ж наоборот: душа была в шалости, она шла вперед с трупным, внутренним воем, который, разумеется, никто не слышал.

Если ж, наконец, какая-нибудь мысль сидела в ее голове гвоздем, надолго и мертвенно, – она была покойна тихим, диким спокойствием слона, изучающего стереометрию. В эти минуты она допускала, что ее на самом деле не существует.

Нередко, раскинувшись своей обширной, наверное, с тремя сердцами, задницей в мягком кресле, она ворочалась в нем, как в мире.

Больной почему-то лез к ней уже полумертвый, и она, скаля зубы, с радостью ставила смертельный диагноз. Просто от этого ей было легче на душе, солнце светило расширяюще веселей, и она словно каталась в представлениях о смерти, как кругленький сырок в масле.

Гнойно изучала жизнь смертельного больного, его привязанности. Сколько людей прошло за всю ее жизнь! Бывало, зайдя в свой ярко-освещенный, солнечный кабинет, она первым делом выпивала бутылку жирного кефира, чтобы ополоскать внутренности от всех смертей. Затем, похлопывая себя мыслями, принимала больных. Вонючий пот не мешал ей думать.

Особенно доставляли ей удовольствие молодые, дрожащие перед смертью. Их жизнь казалась ей ловушкой. И выстукивая, прослушивая такого больного, она с радостью — своими потными, сладкими пальчиками — ощупывала тело, которое, может быть, уже через несколько дней будет разлагаться в могиле. Вообще почти всю свою жизнь Нэля Семеновна думала только о смерти. Думала об этом во время соития, когда жила с черным, вспухшим от водки мужиком, думала, когда жрала курицу, думала, когда от страха перед раком чесала свое студенистое, жидкое от себялюбия тело. Единственно, о чем она еще могла думать "логично", то только об этом, на все остальное же она смотрела как на галлюцинацию.

Для жизни она была тупа, а для смерти гениальна, как Эйнштейн для теории относительности. "Меня не обманешь", — часто говорила она кошке, пряча свое жирное лицо в подушку.

За многие годы дум о смерти у нее сложилось такое представление. С одной стороны, ей казалось

нелепым, что со смертью все кончается. "То, что мы видим труп, — это факт, — нередко повторяла она про себя. — Но это факт такого же значения, как тот, когда люди в древности видели вокруг пространство, разумеется, "плоское", и отсюда заключали, что вся земля плоская. Мало ли было таких видений. Ведь то, что мы видим, только жалкая часть всего мира".

С другой стороны — все представления о загробном казались ей высосанными из земной жизни, из теперешнего сознания. Она не верила в то, что будет загробная жизнь, но не верила и в то, что после смерти ничего нет.

Зато она чувствовала, что после смерти будет такое, что не укладывается ни в какие рамки, ни в какие правила или супергипотезы.

"Это" — так она называла то, что будет после смерти — нельзя назвать загробной жизнью или как-нибудь иначе; "это" — вообще никак нельзя было назвать на человеческом языке; ни существованием, ни небытием; ни до рождения, ни после смерти... То ли ужас перед ничто нагнал на нее эти предположения о "той" жизни, и они были лишь отражением этого ужаса; то ли наоборот этот ужас пробудил в ней инстинктивное виденье истины, дал толчок интуиции; то ли просто она была очень догадлива — рассудит сама смерть, но это представление о непостижимом после смерти так расшатало ее сознание, что она, и кстати, совершенно последовательно, стала видеть как неадекватное и обречение смерти, то есть саму жизнь. (Ведь понимание последней целиком зависит от понимания первой.) Ей даже казалось, что чем бессмысленнее — и вне обычных рамок — она видит мир и себя, тем ближе она к Богу и к истине послесмертного бытия.

Однажды Нэля, совсем очумевшая от мира, который она рассматривала как придаток к смерти, с трудом приплелась к своему врачебному кабинету. В коридоре была уже тьма-тьмущая народу, причем половина из них — полуумирающие. Эти последние были особенно наглы и активны: норовили влезть вне очереди, стучали кулаками по запертой двери, кусали друг друга.

Более здоровые смущенно сторонились по углам. Гаркнув на больных, Нэля с трудом установила очередь. Потом заперлась в кабинете, и, чтоб скрасить себе существование, поцеловала свое отражение в зеркале. Только стук больных, вконец потерявших терпение, привел ее в чувство.

Охрипшим голосом Нэля зазвала первого. Это был смрадный, полуразрушенный пожилой человек, переживший раньше двенадцать ножевых ранений в лицо. Запугав его медицинскими терминами, Нэля Семеновна избавилась от больного. Второй была сухонькая старушка с бантиком на голове, пришедшая сюда со скуки. С ней Нэля занималась долго: позевывая, прощупывала сердце, сосуды, упомянула о заднем проходе. Старушка ушла, оставив в качестве гонорара десять копеек. Затем показалась дама с дитем.

— Если вы, мамаша, будете так переживать из-за того, что ваше дите все равно помрет, вы еще раньше его загнетесь, — разнузданно встретила Нэля Семеновна мамашу.

Она знала, кому из клиентов терпимо говорить святую правду-матку.

Мамаша так запуталась в предстоящей смерти своего дитя и своей собственной, что разрыдалась. Приговоренное дите между тем не среагировало:

весело, точно оно уже было на том свете, дите носилось по врачебному кабинету, гоняясь за лучами солнца.

Обалдев, Нэля Семеновна выперла бессмысленных. Заглянула в коридор.

”Батюшки, сколько их!” – ужаснулась она. Полумирающие лезли друг на друга, надеясь на Нэлю Семеновну, как на эдакое сверхъестественное существо.

Только один, очень начитанный, жался в угол: он был шизофреником и боялся, скончавшись, перенести свое шизофренное сознание на тот свет.

”Только бы не быть там шизофреником”, – думал он.

Плюнув на пол, Нэля Семеновна опять восстановила очередность. В кабинет влетел серенький, помятый, плешивый человек с дегенеративным лицом и оттопыренными ушами.

– Требую к себе внимания! – заорал он, усевшись на стул перед Нэлей Семеновной.

– Почему? – спросила врач.

– Потому что я – Спиноза, – завизжал человечек, вцепившись руками в угол стола, – да, да, в прошлой жизни я был Спиноза... А теперь у меня почти не работает кишечник... Я требую, чтоб меня отправили в самый лучший санаторий.

– А ну, загляну-ка я ему в горло, – подумала Нэля Семеновна. – Раскройте-ка рот. Вот так.

И она с интересом заглянула в глубокое горло жалующегося. Когда кончила, больной тупо уставился на нее.

– Я повторяю... Я был Спиноза... Спиноза... Спиноза, – брызжа слюной, закричал человечек.

”А может, и вправду был”, – трусливо мелькнуло

в уме Нэли Семеновны, и под задницей у нее что-то екнуло. Молча она сняла трубку телефона, набрала номер Центрального Управления санаториев, но сразу договориться было невозможно. В трубку что-то шипели, возражали, убеждали повременить, ссылались на какие-то директивы. Спиноза между тем, тихонько присмирив, сидел в углу.

Нэля Семеновна запарилась, обзванивая различные учреждения. Наконец злобно взглянула на человечка.

– Не может быть, чтобы такой идиот был Спинозой, – раздраженно подумала она. – Где в конце концов доказательства?!!

Устало она положила трубку. Человечек опять нервно засуетился.

– Вы мне не верите, – с ненавистью выдавил он, глядя на Нэлю. – Все вы такие здесь на земле скептики.

Он вдруг вскочил с места, и, подойдя к Нэле Семеновне, наклонившись, стал что-то шептать ей в ухо.

– Ни-ни, – проговорила Нэля Семеновна, раскрасневшись, – ничего не понимаю, – и помотала головой.

– Ах, не понимаете! – злобно вскрикнул человечек, побагровев от негодования. – Ну, а это вы, надеюсь, поймете, – он забегал по кабинету и вдруг резко распахнул рубашку. .

Вся его грудь была в татуировках: но среди обычных, блатных, вроде "не забуду мать родную", выделялся огромный мрачный портрет Спинозы, причем, в парике. Нэле даже показалось, что Спиноза на этом портрете странно вращает глазами.

– Ну, что ж, и теперь не верите? – ухмыльнулся человечек, глядя на врача.

– Не верю. Вот переспите со мной, тогда поверю, – вдруг похотливо выговорила Нэля, сразу спохватившись, как такое могло вырваться из ее рта.

Но человечек не выразил удивления.

– Ну, что ж, это я могу, – миролюбиво согласился он, наклонив по-бычьей голову. – Только у вас дома.

– Прием окончен, – произнесла Нэля, высунув голову в коридор к больным.

...А через час, мерзко извиваясь мыслями в высоту, она, потная, валялась в постели с голым Петром Никитичем (так по-своему называла она больного, стесняясь окликать его Спинозою. Человечек добродушно согласился, что в этой жизни его можно называть и Петею). На расплывшемся лице Нэли было написано довольство.

– Наглый ты, все-таки, Петя, – говорила Нэля Семеновна, – уверяешь, что был Спинозой. В ухо чего-то шепчешь. Тоже мне, доказательство! Или его портрет на грудях нарисовал! Ну и что ж из этого?! Может, ты приклатненных этим пугаешь.

Петя только-только собирался поцеловать Нэлю Семеновну, но такое недоверие обидело его.

Покраснев, он соскочил с постели и с озлобленным личиком забился с уголком. Он угрюмо молчал, не достаивая Нэлю возражениями. Последняя, внимательно вглядываясь в его, чуть оттененное мыслью, дегенеративное лицо, не понимала, отчего у Петра Никитича такая уверенность: то ли это было просто внутреннее убеждение, то ли он знал какие-то тайны.

– Да ведь ты, Петя, – идиот, – проговорила наконец Нэля Семеновна, обглядывая его, – как же ты мог быть Спинозой?

Петр Никитич прямо-таки взвился: выгнувшись, как ученая гадюка, он подскочил к кровати; тусклые глаза его светились.

— А про нравственную гармонию забыла, про закон справедливости, — пробормотал он. — В прошлой жизни я был Спиноза, а теперь — идиот... Для нравственного равновесия, для гуманности. Не слишком было бы жирно, если б я и теперь стал Спинозой? Зато тогдашний какой-нибудь кретин сейчас, небось... эдакий... как его... Жан-Поль Сартр...

Нэля расхохоталась. Пугливо-дегенеративное лицо Петра Никитича повернулось в угол.

— Откуда ты все это знаешь? — колыхаясь телом, изумилась Нэля Семеновна. — Вот уж не подумаешь... Хотя в тебе действительно есть что-то подозрительное. Ну, иди, иди ко мне, мой Спиноза! — и она протянула к нему свои пухлые, потные руки.

Вечер прошел благополучно.

На следующий день за завтраком, прожевывая здорового сочного кролика, чье мясо удивительно напоминало человечье, Нэля, после долгого молчания, проговорила, плотоядно ворча над костью:

— Ты что, действительно веришь, что в мире есть справедливость? ...А как же этот кролик? Может быть, ты скажешь, что он тоже когда-нибудь станет Спинозой?

Лицо Петра Никитича вдруг нахмурилось и приняло умственно-загадочное выражение.

— Я был, конечно, односторонен тогда, Нэля, — просто сказал он. — Но не думай, что я, как все эти, верующие, понимаю только нравственность, забывая о познании. Наоборот, я убежден, что именно в познании ключ к нравственности. Когда мы действительно познаем потустороннее, когда спадет пелена, и

мы увидим, в каком конкретном отношении находится наша земная жизнь — эта малая часть великого — ко всему остальному, то, естественно, все наши представления изменятся, и мы увидим, что зло — это иллюзия и на самом деле мир по-настоящему справедлив... Да, да... И этот самый кролик, которого ты так сладко пережевываешь... Да, да... Не смейся... И его существование будет оправдано... Ведь на самом деле он не просто кролик... И кто знает... Может быть, он когда-нибудь и будет таким... даже Платоном.

Петр Никитич поперхнулся. Кусок кролика застрял у него в горле, и он долго откашливался, пока кусок не прошел в желудок. Нэля утробно рассмеялась: эти речи в устах такого идиота, как Петя, поражали ее, словно чудо.

— И все-таки, ты печешься о нравственном законе, — начала она, — пусть и путем познания, а не этой слабоумной... любви. Но почему ты уверен, что, когда спадет пелена, все окажется таким уж благополучным. Допустим даже, что земное зло — кстати, очень наивное, — как-то разъяснится, но зато может открыться новое зло, более глубокое и страшное... Неужто уж тебе не приходило в голову, что добро и зло — второстепенные моменты в мире, сопутствующие проблемы, а высшая цель — совсем в другом, более глубоком... Эта цель связана с расширением самобытия, самосознания...

Нэля встала, вдохновленная своей речью. Глаза Пети горели, как у факира, и Нэля мельком подумала, что, может быть, Петя действительно был в свое время Спинозой. Это еще больше распалило ее. Она продолжала:

— И даже если проблема добра и зла разрешится в пользу добра, то с точки зрения мирового процесса

это совершенно второстепенно... Неужели ты думаешь, что у высших сил нет более глубокой цели, чем счастье всех этих тварей? Неужели мы должны судить о высшем по себе, вернее, по явном в нас?..

В конце этой тирады Нэля вдруг заметила, что Петя опять подурел. Его взгляд потух, лицо приняло придурковатое, выдуманное выражение; он начал хихикать, пускать слюни... и наконец, запел популяр-ные песни. Нэля еще не могла прийти в себя от выглядывания в Петре Никитиче эдакого духовного существа, как он уже полез ее лапоть.

День закончился полусумасшедшим путешествием в кино.

А следующие дни пошли, как в поэме: весело, придурочно и неадекватно. Петя совсем позабыл о санатории.

Обрызганный своими эмоциями, как мочой, он скакал по комнате, пел песни и все время упирал на нравственную гармонию, что де, хотя сейчас он идиот, но зато раньше был Спинозой и наверняка еще им будет. Это очень умиляло его, и часто Петя, усевшись на кровати, спустив ноги, брэнчал по этому поводу на гитаре.

Нэле он нравился именно как идиот.

Для умиления и для грозности она – во время врачебных обходов – брала с собой Петра Никитича к домашним больным. Тем более, что Петя всем своим видом и нелепыми высказываниями вселял в больных уверенность в устойчивость загробного мира.

Один мужичок даже выбросил из окна все религиозные предметы, заявив, что у него теперь только один Бог – Петр Никитич. Другой – радовался Пете, как отцу, и хотел как бы влезть в его существование. Даже умирающее дите ласково улыбалось Петру

Никитичу и радостно подмигивало ему глазком; особенно когда Петя, дикий и нечесаный, стоял и мутно глядел в одну точку. Только одну старушку-соседку Петя не мог ни в чем убедить; старушка уже помирала, но вместо того, чтобы молиться, держала перед собою старое зеркальце, в которое ежеминутно плевала.

– Вот тебе, вот тебе, – приговаривала она, глядя на собственное отражение. – Тьфу ты... Хоть бы тебя совсем не было.

Оказывается, старушка вознегодовала на себя за то, что она – как и все остальные – подвержена смерти.

Умерла она самым нечеловеческим образом. Задыхаясь, приподнявшись из последних сил, она гнойно, отрывая от себя язык, харкнула в свое отражение; харкнула – упала на подушки – и умерла...

А Нэля не могла нарадоваться на такие сцены; ее сознание пело вокруг ее головы, употребляя выражение теософов; она позабыла обо всем на свете, даже о своем экзистенциальном кревоугодии.

А отходящих вдруг выдалось видимо-невидимо: в районе, в котором лечила Нэля Семеновна, люди стали умирать друг за дружкой, точно согласованные. Раскрасневшаяся, с разбросанными волосами, Нэля Семеновна с бурной радостью в глазах носилась по своим домишкам, как ожиревшая бабочка. Последнее время уже одна, чтобы ни с кем не делиться своим счастьем.

У нее даже появилась привычка щипать умирающих или дергать их за руку, якобы для лечения.

А нравственно – после этих посещений – она все вырастала и вырастала... но куда, неизвестно... Во

всяком случае – внешне – она стала писать стихи, очень сдержанные, по латыни.

Но одна страшная история напугала ее. Петр Никитич исчез.

На столе лежала записка: "Уехал в Голландию".

"Прозевала, прозевала, – мучительно подумала Нэля Семеновна. – Из-за моего увлечения умирающими... Он не вынес равнодушия к себе. Ушел".

И она осталась одна – наедине со смертью.

ЖЕНИХ

Пелагея Андреевна Кондратова, суетливая женщина лет сорока пяти, в пуховом платке и обычных очках, потеряла дочку, первоклассницу. Дите было еще совсем неразумное, хоть и вкрадчивое. Раздавил ее на дороге, прямо против окон Пелагеи Андреевны, как раз, когда она пила чай вприкуску и смотрела на Божий свет, начинающий шофер Ваня Гадов. Ваня был очено труслив, никогда не пил и даже боялся ходить в клозет. Лето было жаркое, и он ехал на непомерно большом, точно разваливающийся дом, грузовике в одной майке и трусиках. Ваня думал о том, как он купит себе новые штаны.

Услышав что-то неладное, вроде писка мыши сквозь грохот мотора, он резко притормозил и, с папиросой в зубах, выглянул из кабины.

Дите уже представляло собой ком жижи, как будто на дороге испражнилась большая, но невидимо-необычная лошадь.

Мячик отлетел в сторону, и какой-то пузан, подхватив его подмышки, утекал со своей добычей в подворотню.

Гадов ошалел от страха: он тут же представил себе, как выбегут родители и будут его бить. Сердце прыгало так ретиво, что ему казалось, что оно выско-чит через горло.

Отовсюду ему чудились крики. Сорвавшись с места, в одних трусиках он побежал: скорее, скорее, только чтобы не видеть глаза людей.

Юркнул в подъезд и спрятался в пустующем подвале между старыми комодами.

Везде была тишина; но он всем сознанием своим прислушивался к ней; а не разорвутся ли где-нибудь далеко-далеко вопли.

Между тем на улице были и смех и слезы. Стадо любопытных, еле сдерживая внутренние смешки и пьянящий испуг, обступило мокрый комок и стояло, переминаясь с ноги на ногу.

Где-то в углу дюжие милиционеры связывали отца. Ведь он был как ненормальный и мог бы убить кого-нибудь. Мать, лежавшую пластом, отхаживали на лестнице. Рыжая кошка лизала ей пятку.

Санитары из сумасшедшей белой машины совком сгребли остатки девчушки в медицинский мешок и увезли.

Очень скоро на улице стало как обычно, опять понеслись вперед автомобили, проезжая по темному, никому не заметному пятну на асфальте.

Только в доме Кондратовых творился переполох. Бабушка Анастасья совсем потерялась и стала считать полотенца. Откровенно говоря, ей на все было плевать: она так вжилась в собственную будущую смерть, что многое казалось ей естественным. Витя,

семнадцатилетний брат покойной – если только можно считать комок покойницей, – так любил играть в футбол, что не понимал различия между смертью и забитым голом. Его еле-еле оторвали от игры в соседнем дворе и привели в дом чуть не за руку, подталкивая. Только Пелагея и ее муж – здоровый, пузатый мужик Петя – были не в себе. Кто-то из соседей советовал Пелагее опомниться и не так переживать, принять слабительное и сходить несколько раз в клозет. ”Прочисти желудок, Пелагея, прочисти!” – орала на нее здоровая рыжая баба со щеткой.

На следующий день в доме была мертвая тишина. Бабка Анастасья уехала в Белые Столбы за грибами. Витя сидел у стола хмурый и ковырял в носу.

Родители бродили по комнатам, как тени. Пелагея так ослабела, что не могла есть. Вечером приперся здоровый, разовощекий милиционер.

– Здорово, мать! – заорал он с порога.

Пелагея ничего не ответила, но только мутно посмотрела на него.

Служивый расположился за хозяйским столом, как у себя дома.

– Первое, поймали убийцу, мать, – сказал он, стукнув по стулу. – Сиротой оказался. Если заинтересуешься, приходи к нам... Второе, штраф плати. Твой-то, когда буянил, за нос укусил одного учителя. Нехорошо!

Пошумев, милиционер ушел.

Потянулись скучные дни. Кошмар вошел даже в суп, который они ели. Пелагея точно совсем онемела, и слезы заменили ей слова. Целыми днями она плакала и исчезала из одного пространства в другое.

Петя был сурово-молчалив; Анастасья же сквозь платок с испугом заметила, что он спрятал в комод топор.

Молчание его было столь многозначительным, что Пелагее, хорошо знавшей Петю, казалось, что погибшая Надюша переселилась в него и он ее там в себе хоронит. Его тело казалось ей Надюшиным гробом и оттого – таким молчаливым и таинственным. Она боялась спать с ним в одной постели.

Наконец наступил суд. Ваня Гадов уже находился в тюрьме. Окончательно его добило то, что теперь приходилось спать на жестком. Поэтому он громко, истерически рыдал на суде.

А по ночам – он спал в углу, у параши – ему виделись бесчисленные жалобные свои личики, то появляющиеся, то исчезающие в стене.

Кондратовы, как в тумане, видели во время суда его трясущееся лицо. Но все их внимание было приковано к нему. Прикинув, Ваню посадили на два года. Жалобного, в слюнях, его отправили в лагерь.

А Кондратовы притихли, зажили своей Надюшей. Витя с бабкой Анастасьей, правда, шумели по-прежнему, но теперь в их шум замешался бессознательный мистицизм. Витя даже голы забивал, как все равно молился Господу. А Анастасья, собирая грибы, осторожно обходила белые.

Может быть, суровое молчание Пелагеи и Пети подавляло их. Бабка Анастасия, бывало, за чаем, дуя в блюдечко, нет-нет, а вздрогнет.

– Петь, Петь, – спрашивала она, – зачем топор-то в комод среди белья положил?.. Ты чего?.. А?

Петя бессмысленно смотрел на нее и говорил:

– Для дела, мать... для дела, – и опять задумывался.

Пелагея часто срывалась с места и убегала в клозет. Оттуда доносилось ее жалобное, похожее на сектантское, пение.

Но вообще звуков было мало. В основном – молчание.

И вдруг среди ночи – Пелагея, теперь принимавшая огромный волосатый живот Пети за Надюшин гроб, спала на отдельной постели, но рядом с мужем, – вдруг среди ночи Пелагея, почуявшая, что муж тоже не спит и думает о том же, о чем она, но по-своему, тихо выговаривала в пустоту:

– Петь, а Петь... а никак Ваня родной... Все-таки Надин убивец... Давай его возьмем к себе на воспитание... Ведь он сирота...

Петя долго, долго молчал. И вдруг в тишине раздался его свист: громкий, длинный, как из трубы.

Больше Пелагея ни чем его не спрашивала: свист она оценила как согласие.

Недели через две смущенная, раскрасневшаяся Пелагея, хлебнувшая для храбрости сто грамм водки, с ворохом бумаг сидела перед последней инстанцией: ожиревшим, самодовольным гражданином-товарищем. Чин долго не понимал, в чем дело.

– На поруки хотим взять Ваню, на поруки, – расвирепела наконец Пелагея Андреевна. – В семью убиенной...

– Если только в порядке общественности, – тупо сообразил чин.

– Как хочешь, так и назови, – ответила Пелагея.

Чин, потирая жирную шею, соображал, как лучше нашуметь по этому поводу в какой-нибудь газетке, осоловевшими от власти глазами он смотрел на свою руку, подписывающую: "не возражаю".

...А между тем Ване в лагере приходилось не

сладко. Больше всего он жалел свой подвижный зад. Одурев от страха и жалости к себе, так что везде на него лезли видения, он начал с того, что стал предавать кого попало, вообразив, что от этого ему будет лучше. Он почти ничего не знал об окружающих его уголовниках и больше фантазировал, чем предавал. Начальство прямо остолбенело от его рвения. Остолбенели даже уголовники.

“Первый раз вижу такого ненормального Иуду”, – говорил старый, порыжевший в лагерях каторжник. Уголовники от неожиданности даже не нашлись сразу убить его. А потом, когда Ваня даже сквозь дурость сообразил, что наделал, то прятался он в уголках, под ногами у начальства, в лазаретах. От страха перед возмездием он все время болел.

Единственным его наслаждением, за которое он судорожно, нравственными зубками уцепился, было подолгу отдыхать в привилегированной уборной, куда ему был открыт доступ. Около уборной стоял часовой с автоматом.

...После того как Ване, наконец, сообщили о странной возможности выйти на волю, к Кондратовым, он, ночью, укрывшись с головой под одеялом истерически думал: “Не пойду... Убить хотят... Заманить!”

Но после того, как он в полоумно-потустороннем страхе наделал столько нелепостей, предавая других, то наконец с большим опозданием холодный рассудок заговорил в нем. Правда, под аккомпанемент трусливого попискивания в сердце.

“Все равно меня тут прирежут, – думал он, размазывая для нежности слюни по животу. – Все равно прирежут... А там черт его знает, как обернется... Сбежать, однако, от Кондратовых не убежишь: ведь

берут на поруки только в их семью, будь она проклята... А там черт его знает... Надо хоть мать повидать, поговорить”.

Дня через два Ваню отвезли в подходящее место для свидания с Пелагеей Андреевной. Пелагея, когда подходила к месту свидания, думала только о своей Надюше. Наконец она очутилась в комнате. Ваня вошел туда дрожаще-затурканный, с бегающими глазками, и не знал, то ли ему закричать петухом, то ли подпрыгивать козлом. Перепуганный, он сел на скамейку рядом с Пелагеей. Мать убиенной смотрела на него ласково и внимательно. Молчание длилось очень долго.

— Ведь ты любил ее, Ванюша, — вдруг добреньким голосом пропела Пелагея.

Ваня остолбенел и хотел было выжать: ”Да ведь я ее и не видел никогда, если только не считать кучки”. А ведь кучку, как известно, трудно полюбить.

Но вместо этого Ваня вдруг робко взглянул в глаза Пелагеи и увидел там явно выраженное, тупое доброжелательство. Тогда он тихо выговорил: ”Любил”.

— Я так и думала, сынок, — sloкойно и гордо ответила Пелагея. — Поедем в нашу семью.

У Вани слегка отнялась челюсть, и противоречивые мысли гадливо шевельнулись в нем. Он то с испугом, то с надеждой смотрел на нос Пелагеи Андреевны.

”Такая не схитрит”, — говорил в нем инстинкт. Он очень выигрывал своим молчанием: ведь с языка его могло сорваться Бог знает что.

— Я подумаю, мам, — дрожащим голосом произнес он последнее жуткое слово и тут же блудливо-испытующе глянул на Пелагею. Та раскраснелась от радости.

– Я подумаю, – произнес Ваня и, уходя, протянув длинную руку, схватил с колен Пелагеи узелок с провизией.

Его отвели в какую-то узкую одиночную камеру. Здесь на полу он пожирал Пелагеины гостинцы: набивал рот до отказа яйцами вместе с конфетами и сыром... Сердце его радостно колотилось... Инстинктивно, еще не веря разумом, он чуял, что здесь кроется не месть, а что-то другое, непонятное для него, но в общем благополучное. А при виде того, что он опять заключен в мрачную и безысходную клетку, ему захотелось вскочить и завопить: "Я согласен! Я согласен!"

Еще больше сроднясь с самим собой, он в ужасе представлял, что его ждет страшный лагерь, где в каждой темноте нацелен приготовленный для него нож.

"Не хочу, не хочу! – дрожал он. – У Кондратовых-то прежде чем погибну, хоть отъемся малость да поплю на мягком... А там кто его знает".

В тот же день Ваня дал свое согласие. А Пелагея между тем после свидания с сыном побрела в храм. И молилась так, как может молиться только раз в жизни простой, блаженный русский человек, если его пригвоздит самое страшное горе. Роняла про себя необычные, никогда ей и не снившиеся слова.

– Господи! – говорила она, съезжившись на корточках у желтой иконы. – Господи! Не может быть так жисть устроена, чтоб один человек был причина гибели другого... Не может... Ваня не убивец, хоть и убивал... Он только прикоснулся к Надюше и связался с ней раз и навсегда... Тайна, о Господи, их связала... Теперь для меня что Ваня, что Надюша... Таперича Ваня не убивец, а жених, воистину жених будущей Наденьки!

И она коснулась своим легким, полуживым лбом горячего от пота и слез пола.

Наступил день встречи с Ванюшей. Кондратовы всей семьей вылезли на какой-то не от мира сего, пыльный вокзал.

Ваня вышел из поезда с тяжелым чемоданом, осторожно озираясь по сторонам, вобрав голову в плечи.

Пелагея бросилась к нему вперед со сдержанной, чуть застенчивой радостью. За ней с бессмысленным взглядом, остолбенело трусил Петя. Анастасье же, живущей своей будущей смертью, было все одно: приезд убийцы она восприняла как приезд квартиранта или просто как повод для обычной суеты.

Один Ваня, чуть отставший, был сконфужен и даже покраснел.

Наконец семейство окружило Гадова.

Ваня, ошалевший от страха и надежд, сразу же громко, на весь вокзал заговорил о погоде. В это время подошли корреспонденты, и после торжественной части Кондратовы с Ваней, закупив водку и закуску, в такси отбыли домой.

Дома за столом было шумно и непонятно. Ваня так перетрусил, что набросился не столько на жратву, сколько на водку. Особенно его пугали бессмысленно-доброжелательные глаза Пети.

Надувшись водки, как воды из-под крана, Ваня таким образом ушел от мира сего.

Непрерывно пил он и следующие дни, опоминаясь только для того, чтобы доползти до бутылки с самогонном и сразу влить в себя самую дикую порцию. И опять, тут же рядом, тяжело и неумолимо засыпал.

Наконец после одного долгого беспробудного сна он очнулся.

Утренние лучи солнца играли у него на лице, и голос Пелагеи Андреевны около него прозвучал: "Сынок, милый, что ж ты пьешь-то, как зверь". Ваня от страха почесался и привстал. Добрые, но уже с сумасшедшинкой, глаза Пелагеи смотрели на него.

Откуда ни возьмись вынырнула большая, в пуху голова Пети.

– Чай, чай надо пить, Ваня, – проговорила голова.

С ужасом Ваня заметил, что над его постелью висит огромный портрет Надюши. Это была действительно милая девочка с доверчивыми ясными глазами ребенка. В ее руках был мяч, тот самый, который под шумок украл толстопузый малыш. Озираясь, Ваня в одних трусах пошел к столу. Его нелепая трусливая фигура безразлично освещалась солнцем. Прислуживала Анастасья.

Узнав, что Пелагея спала с ним в одной кровати, Ваня чуть не упал.

– Пупок-то у тебя, Ваня, совсем как у Надюши, – сморщенно проговорила Пелагея, прихлебывая чай.

И мутно, чуть остановившимися глазами посмотрела в лицо Вани.

Ваня обмер. Глянул по сторонам. "А может, все в мою пользу", – появилась наглая мысль.

Наконец все, кроме Анастасьи, разошлись на работу.

Ваня пугливо бродил по дому, и ему казалось, что он все время натывается на Надюшины вещи. (Пелагея по странности ходатайствовала даже, чтобы перенести Надину могилку им во двор; и место облюбовала: в огороде.)

Потянулись легкие незабвенные дни.

– Ешь, сынок, ешь, – говорила Пелагея, пристально вглядываясь в его жующий рот.

По мере того как Ваня чувствовал, что его не хотят убивать, у него разыгрался аппетит.

Но срывы все-таки были. Правда, Пелагея больше не ложилась в его постель. И пугал-то его больше Петя. Он был совсем смиренный, как тень Пелагеи, но травмировал Ваню своим нелепо-бессмысленным доброжелательством.

Аккуратно из каких-то далеких углов приводил Ванюше худых, непонятных девок. И только иногда Ване становилось совсем нехорошо: когда Петя, как морж, долго вглядывался в Надюшин портрет и потом тяжело переводил глаза на Ваню. При этом Петя неожиданно, враз, всем телом вздрагивал. Но потом опять опоминался.

А Анастасия мимоходом заметила, что топор из комода он выбросил далеко, за помойку.

Сама-то Анастасия относилась к Ванюше просто, по-хозяйственному: иногда даже мыла ему ноги, запросто, как моют тарелки.

И этой же тряпкой говорливо обтирала Надюшин портрет.

Даже Витя, который сначала относился к Ване недоуменно-здраво, чуть изменился и даже приглашал его играть в футбол.

– Хороший ты край, Ваня, – ласково говорил он ему.

Пелагея уже больше не молилась в храме, как тогда; реальность исчезновения Надюши и присутствия Вани была выше молитв. В ее мозгу появлялся образ Надюши, и тут же она переключалась на Ваню, на жениха; он был рядом, он существовал; иногда даже она путала их имена; когда Ваня уходил в уборную, она, по-темному улыбаясь, говорила иной раз в ошалевшее окружение: "А Надюша в туалет пошла... Дай ей Бог здоровья!"

И Ваня обычно нервно передергивался, когда Пелагея впотьмах ровным петушиным голосом окликнула его: "Надюша, Надюша!"

– Больно здоров Иван-то для Надюши, – усомнилась один раз Анастасия.

Очень любила Пелагея некоторые привычки Ванины, особенно как он ел: аппетитливо, выжимая все соки из пищи и урча. Ей казалось, что тем самым он дает жизнь не только себе, но и погибшей Наденьке.

– А вот за дочку, Ванечка, – подносила она ему жирные, в луке, маслящиеся котлеты. – И первый кусок за нее... И второй.

Ваня жадно проглатывал все.

Иногда, расчесывая густые Ванины волосы, искала там Надюшины слезы.

– Много их у тебя, Ваня, – приговаривала она.

Справляли как-то день рождения Ванин. Единственное, что предложил Петя – так он чаще молчал, – это объединить день рождения Вани и Надюши в один.

Пелагея за столом совсем распустилась.

– Ну признайся, Ваня, сукин ты кот, – сказала она, сомлевыми глазами осматривая сына, – ты ведь любил Надюшу... Ну признайся...

Этот день стал переломным. Ваня нагелл с каждым часом.

– Ну, конечно, любил! – громко кричал он на весь дом. – Да еще как! – и рвал на себе рубашку.

После этого дня Ваня надел на шею медальон с фотографией Наденьки. Теперь убийца ничего не боялся. И жизнь его пошла как по маслу... Через полгода это уже был настоящий тиран в семье, маленький божок. Везде он паразитировал на Надюши-

ной гибели, смердел и нередко целовал ее портрет. "Малютка", – называл он ее теперь.

Работать он уже не желал, а хотел, чтобы Кондратовы его откармливали, да получше. С их помощью он приобрел даже документы о своем якобы слабоумии. И начал жить припеваючи: плечи у него стали сальные, гладкие, как у бабы, ел он до невозможности много и очень часто пьянствовал, сидя с распухшей, жирной мордой в радостно-лихорадочных пивнушках.

И лежа под одеялком, не мог нарадоваться на свою судьбу. А к "малютке" он почувствовал что-то похожее на благодарность и нечто вроде юродствующей любви.

На Кондратовых он уже так покрикивал, что Витя сбег из дому. А когда Пелагея раздевала его, пьяного, в постельку, отмывая блевотину, то он ахал и для строгости вспоминал "Надюшу".

Ее имя стало для него вроде талисмана.

Иной раз он вспоминал ее и во время полового акта, когда вдавливался в пухлую женскую плоть.

Теперь, когда Ваню кто-нибудь спрашивал о жизни, о ее смысле, он всегда отвечал, что мы живем в самом лучшем из миров.

СЕРЫЕ ДНИ

Во дворе одной старой заезженной испыленной московской улицы стоит деревянный двухэтажный домик. Внутри его ведет черная пасть – на парадной лестнице никогда не горит лампочка. На полкрыла

верхнего этажа протянулся длинный, заставленный сундуками и всяким хламом коридор, по обе стороны которого – двери комнат-клеток.

Там обитает разнообразный полупьяный житель. Очень много жирных, с отвисающим животом и задом, дядек, лысых, матерщинников и сладострастников. Женщина живет всякая – есть тоненькая, задумчивая и какая-то полуотсутствующая в этом мире кастрюль, тараканов и синего неба, виднеющегося из окон; есть – жирная, грубая, визгливая; такие часто валяются в коридоре пьяные или под чужим мужиком.

Но почти всех женщин объединяет одно: все они стараются забить свои комнаты-клетки стульями, столами, кроватями, горшками и телевизорами. Каждая покупка – дикая радость для одних и плаксивый вой для других.

Некая Вера Петровна (женщина 22-х лет), купив телевизор, всю ночь плясала во дворе при свете ночного фонаря со своим мужем, веселым хохотуном.

И из всех окон смотрели на них, завидовали, ныли и пересчитывали свои денежки.

В сумасшедшем, деревянном чреве дома живут еще дети. Все они садисты и до безумия злы. Кажется, если бы не их относительная рахитичная слабость, то они разнесли бы весь дом, двор, улицу, и если бы могли, весь мир. Но они не могут даже выбить все стекла в своем дворе.

Но зато у них есть жуткое, веселое, бьющее через край своей жизнерадостностью чутье находить слабых. Какая-нибудь старушка-инвалид... И начинается крикливая, сладострастная пляска мучительства.

Живут во дворе также мечтатели. Один из них,

Иван Дубов, сапожник-частник, чинит обувь только дамам.

– Мужчине я ни одного гвоздя не вобью, – говорит он мрачно и серьезно. – Потому что удовольствия никакого нет.

Другой – Валя Колесов – любит пить пиво. Он опаздывает на работу, бросает все, пока стоит в длинной, суматошной очереди у грязного пивного ларька. И даже когда умер его крошечный сынок – беленький такой ангелочек – он увильнул и не пошел на похороны, потому что привезли душистое, кипящее пиво.

Даже среди детей есть идеалисты. Один из них, здоровенный садист лет 15-ти, исполосовавший бритвой не одно лицо, тихо замирает, когда выходит гулять Коля-сказочник, мальчик лет 12-ти.

Он отводит Колю в угол двора на бревна и, отогнав всех, смиренно, чуть прикрыв глаза, слушает сказки. Если Коля плохо рассказывает, он его бьет, но не как всех, а покойно и даже уважительно.

В этакое-то домишке живет женщина лет пятидесяти с сыном. Зовут ее Анна Петровна. В молодости она была красива, хрупка и не в меру интеллигентна; муж ей попался грубый, из пролетариев, и давно ее бросил; теперь она – забита, суматошна, а от интеллигентности осталась одна истеричность. Всю свою жизнь она посвятила своему сыну Вите. Вите сейчас – 23 года, учится в техникуме, он – груб, неотесан, одним словом, пошел в отца.

В один прекрасный день Анна Петровна заболела. Это случилось во время стирки, тяжелой и нудной, изломавшей ее тело. Давая себе отдых каждые пять минут, она, как всегда, с экзальтацией думала о сыне, так, чепуху всякую. Это ей страшно помогало. На сей

же раз что-то быстро убило ее материнскую романтику. Она почувствовала себя плохо. Вызвали врача. Он пришел, толстый, торопящийся. Пошевелился над ней и сказал, что пройдет. Выйдя же в коридор и пыхнув на Витю бычьими глазами, сказал, что диагноз тяжел и вряд ли она протянет один месяц.

– Пусть сидит дома, в больнице делать нечего, туда возят выздоравливать, а не умирать, – пояснил он.

Разговор подслушала соседка Вера Иосифовна, женщина лет 48. Уйдя в свою одинокую, вдовью комнату, она подняла к грязному потолку свои сине-водянистые глаза и сказала самой себе:

– Как жаль Витю.

Она очень любила Витю и ревновала его к матери.

Может быть, ей удастся усыновить Витю? Правда, он два раза побил ее и один раз облил холодной водой... Она представила, как Витя спит в ее комнате, и поцеловала ножку кровати.

– А над его головой я повешу портрет Мичурина, – подумала она.

Витя между тем, узнав о близком конце матери, совсем загулял. Он очень любил себя и жил только собой, но в то же время смутно чувствовал, что должен сейчас жалеть и утешать мать.

Эта двойственность раздражала его; поэтому он решил сбежать.

Сказав матери, что их отправляют на практику, он уехал на несколько дней к товарищу.

В маленькой, закопченной комнатухе вместе с какими-то странными, лохматыми и до неестественности крикливыми парнями он жрал водку. Закусывали селедкой и масляными пальцами перебирали рваные карты. Было как-то хохотно, грязно и интерес-

но. Витя чувствовал, что он во власти веселых освободительных сил; что он может, например, стать сейчас на стол, снять штаны или наорать на мать.

Анне Петровне было между тем совсем скверно, болезнь давала себя знать, а за ней некому было ухаживать. Несколько раз заходила, впрочем, Вера Иосифовна; но она, вместо того чтобы помочь, принесла два горшочка с цветами и пыталась поцеловать Анну Петровну.

— Все же, если кто и жалеет меня, то это Витя и Вера Иосифовна, — подумала Анна Петровна.

Вялая, опустошенная, погруженная в мечты о сыне, бродила она по комнате, питаясь, как птичка, остатками еды.

Наконец явился Витя. Он вошел в комнату слегка взлохмаченно-злой, так как в коридоре, подкравшись к нему сзади как тень, его поцеловала в затылок Вера Иосифовна.

— Как, мамаша, здоровье? — все же сказал он, чмокнув мать. — Я не один. Глаша со мной.

— Где ж она? Глашка-то, — спросила Анна Петровна слезящимся от волнения голосом.

— Сейчас придет.

И Витя сразу же стал прибираться в комнате. Вид комнаты вдруг как-то переменялся, и Анна Петровна со своей кроватью оказалась в углу.

Большое место заняла огромная, как плот, постель Вити. Вскоре пришла Глаша.

Это была полная, покойная женщина лет тридцати трех, с округлым задом и грудями. Лицо ее было поразительно бессмысленным и отсутствующим. Душевно она была абсолютно пуста, но не обреченной, страшной пустотой, а какой-то здоровой, по-

койненькой пустотой, полным отсутствием всяких мыслей.

В жизни она любила есть, спать и нежиться. Спала она 10-12 часов в сутки, ела 5-6 раз в день, причем, почему-то любила есть под музыку. Кормили ее очередные любовники, которым она нравилась за простоту и за то, что отдавалась сразу же, без претензий.

Как пришла Глаша, Витя сразу же принялся укладывать мать спать. В дверь постучала и вошла Вера Иосифовна. Она прямо подпрыгивала от охвативших ее мыслей и прежде всего бросилась ласкать Анну Петровну.

– Анна Петровна, баиньки, баиньки, а то вы устанете, – верещала она около нее.

Глаша сидела в углу и молча ела котлеты. Витя, немного остолбеневший от активности Веры Иосифовны, молчал, и в голове его напрягалась и не могла вырваться какая-то тупая и определенная мысль.

– А теперь, детки, я вам постелю, – сказала Вера Иосифовна.

И потом она ушла, оставив незримый туман своей болтовни и истерики.

...Витя и Глаша легли спать. Глаша глухо ворочалась под сильным и решительным телом Вити, и на ее лице появились бледные, неуловимые признаки мыслей, ибо только в этот момент Глаша могла о чем-нибудь думать.

Анна Петровна кряхтела в своей кровати: свое собственное тело казалось ей лишним и ненужным; она вспоминала, как Витя целовал ее в щечку и думала о том, что это спасет ее от любой болезни.

А наутро в разорванных лучах пыльного солнца они втроем казались ошалевшими, дикими от сна, от самих себя.

Пришел доктор. Виктор почему-то стал забивать гвозди в ящик. Глаша ела, поглаживая бедра. Немного очумевший доктор вызвал Витю в коридор.

– Умрет, умрет мать, – буркнул он. И был немало удивлен, когда вынырнувшая откуда-то из темно-шкафного угла женщина (то была Вера Иосифовна) сунула ему в карман деньги.

Потянулись странные, напряженные, как стук сердца, дни. Глаша совсем как-то опьянела от сытости, от близости Вити и все время просила его “ложиться”, даже днем. Выражение ее лица стало осмысленней и даже по-животному одухотворенным.

Валяясь на постели, она часами рассматривала свое круглое белое лицо и пыталась отразить в зеркале выражение лица, какое у нее бывало в момент близости.

Витя же, возвратившись с работы, мастерил и не обращал на нее никакого внимания, с нелепо сосредоточенным видом стуча молотком...

Анна Петровна плакалась, что вдруг умрет и больше никогда не увидит Витеньку. Вера Иосифовна забегала к ним каждый час, меняла цветы в горшочках.

– Все умрут, – успокаивала она Анну Петровну, – главное, плакать не надо.

И гладила тихую, безволосую головку Анны Петровны.

По ночам же, закрывшись одеялом, она мечтала, как усыновит своего Витю.

Иногда Анна Петровна, заботливо поддерживаемая Верой Иосифовной, выходила в садик подышать Божьим воздухом.

Тогда Витя сразу же бросал все дела, лез в шкаф и пересчитывал материны платья.

– Ты, Глашка, будешь у меня одета, – говорил он.

Витя боялся желать смерти матери, но иногда не выдерживал. Впрочем, он любил ее.

Однажды Вера Иосифовна сидела одна на скамеечке в этом одиноком и в то же время таком, как все, дворике; Анна Петровна еще не желала. Небо было огромное, прозрачное, казалось, это была сама безграничная пустота, уходящая далеко ввысь, в беспредельность, повисшая над реальным и странным в своей определенности миром. Чудилось, что нависшая пустота все поглотит или просто пройдет сквозь дома, деревья, тела, растворив их в себе и сделав такими же химеричными и пустыми.

В комнате Анны Петровны было тихо и слегка потусторонне; Глаша ела. Выражение ее лица было каким-то отсутствующим.

Вдруг в немую тишину комнаты вошло чье-то незримое, болезненное присутствие. Анне Петровне вдруг показалось, что кто-то смотрит на них влюбленно и отчаянно. Но откуда смотрит, она понять не могла.

Прошло еще несколько дней в каком-то дневном свете, в суматохе, в размахивании руками, в делах. Они были удивительно непонятные, и Витя даже забывал, когда было вчера, а когда будет завтра.

Анна Петровна хотела найти себе дело и прогуливалась взад и вперед по комнате. Вера Иосифовна шила Вите зеленые тапочки. Иногда они опять чувствовали чье-то изломанное, робкое и как бы стыдливое присутствие. И только одна соседка заметила, как мимо их двери, по пыльному коридору прошмыгнуло какое-то маленькое, странное существо.

Нарушал этот поток жизни доктор. Он приходил толстый, надутый, но уходил от них всегда немного ошалевший. Он вносил в их мир какое-то нестерпи-

мое ожидание, ожидание смерти. Все они были точно на пристани, ожидая прихода корабля – придет или не придет. И вместе с тем не понимали, зачем им все это нужно.

Однажды Витя и Вера Иосифовна остановили доктора в коридоре.

– Что скажете? – тупо спросил его Витя.

– Болезнь чего-то не так пошла. Сейчас сделаю анализ: тогда сразу видно будет, когда умрет. Приду завтра с ответом.

Новый день начался кошмарно-серо и фантастично.

Витя, спросонок, не разбудив еще Глашу, вместе с соседом-инвалидом ушел пить водку в сарай. У инвалида было по-животному красное выпяченное лицо, точно он все время хотел схватить кого-нибудь зубами.

Глаша лежала на кровати, сонная, разбросавшаяся и неудовлетворенная.

Она смотрела на раму окна и страшно жалела, что сегодня не жила с Витей. Из-за одного пропуска ей казалось, что жизнь от нее уходит.

– И не то жалко, что не жила, – думала Глаша, – а мыслей жалко... Какие были мысли. А вспомнить не могу...

Мысли у нее действительно появлялись во время любви, появлялись самопроизвольно, легко, без усилий, как во сне, и какие-то они были уютные, убаюкивающие, люлечные. Они уносили ее куда-то далеко-далеко в давно забытую людьми страну. Глаша чуть не заплакала от обиды... Где мысли? В голове было пусто и холодно. Она пыталась погладить собственное тело. Посмотрела на лампу, на потолок. "Укрывают они меня от дождя", – подумала

она. И опять пожалела себя. Неприязненно взглянула на Витю. "Ишь, ходит, и нет ему до меня дела. Хорошо было бы жить не с Витей, а с планетой", – подумала она.

А Витя пел песни, веселый, смешной и сумасшедший. Вера Иосифовна умиленно на него глядела и даже бросила мыть пол.

Самое же страшное и фантастичное было то, что Анна Петровна озлилась. Ей вдруг показалось, что она все-таки действительно может умереть. Она поверила в это только как в некую вероятность, пусть ничтожную, но уже это ее озлило. Неожиданно она стала швыряться на пол посудой. Побродит-побродит и р-раз, швырнет чего-нибудь, вилку там или нож.

Странно, что сначала никто на это не обратил внимания. А Вера Иосифовна вдруг убежала в лавку купить белых цветов.

Витя под конец совсем отрезвел и стал есть рыбу. Он так погрузился в еду, что опять ни на кого не обращал внимания. Глаша спала в верхнем белье, лишь изредка поднимая голову при звоне посуды, чтобы потом снова сползти вглубь, под одеяло.

– Довольно, мамаша, хулиганить, – сказал наконец Витя.

Неожиданно раздались голоса.

– Вот эта, – пробубнил чей-то глухой голос за дверью, и в комнату вошел необычайно солидный, пожилой человек с портфелем. Вид у него был не в меру самодовольный и вместе с тем пришибленный, оглушенный. Самодовольный человек была вся его внешняя оболочка, жирная и инертная, но в нем также сидел и оглушенный человечек, который, казалось, вот-вот выпрыгнет из оболочки и накричит, но накричит единственно от страха.

Толстяк аккуратно отер пыль со стула, солидно и как-то чересчур самодовольно сел, но тут же оглядел всех торопливым, перепуганным, как бы выскакивающим из орбит взглядом: а не сделал ли я чего-нибудь неприличное.

Глаша открыла глаза и жирно потянулась всем телом.

Толстяк распахнул портфель и брякнул:

– Я – завуч школы. (Пришибленный человечек спрятался, и на Глашу смотрело солидное, лишь слегка подпрыгивающее в своем довольстве лицо.) – Вы Глафира Яковлевна?

– Буду ей, – отвечала Глаша.

– Видите, дело в том, что письмецо на вас есть, от ученика нашего 4-го класса... Лично нашему директору... К награде просит Вас мальчик представить... Чуть не памятник вам поставить.

Витя бросил пищу и подошел к завучу:

– По-ученому что-то говорите... Что вы хотите сказать?

– Ничего, ничего, товарищ, – опять необычайно важно, даже склонив голову набок, ответил завуч. – В письме наш ученик очень хвалил вашу жену... К награде просил представить... На работе повесить... Два письмеца послал: в милицию и администрацию школы... Психологически крайне интересно.

В это время в коридоре опять послышался шум, и в комнату влетела женщина лет пятидесяти вместе с тоненьким, трясущимся существом лет одиннадцати.

– Ты ответишь за свой разврат, сучка, – набросилась она на Глашу, – мальчишку до чего довела... В петлю лезть собрался... Еле вынули...

– Позвольте, позвольте, почему петля? – закричал

завуч и двинулся на женщину. – Письмо было, а не петля.

В это время дверь распахнулась и вошла Вера Иосифовна. В руках она держала ослепительно-белый букет цветов. На минуту все смешалось. Мать мальчика кричала, что ее Коля хотел повеситься; завуч самовлюбленно напирал, что было только письмо; Глаша ошалела и была раздражена, что ей не дают спать. Витю же от всех этих криков вдруг потянуло в сарай пить водку.

Лишь приведенный мальчик Коля одиноко стоял в углу; у него был удивительно старческий, взъерошенный вид карлика; но лицо было освещено каким-то странным сиянием, как будто ничего это его не касается и он в раю.

– Знаю, знаю, я все знаю! – затараторила вдруг Вера Иосифовна. – Иван Дубов, сапожник, мне рассказал. Сейчас он тут, в коридоре. Ваня, найди!

Иван Дубов, корявистый, серьезный мужчина, поправляющий обувь только дамам, сутулясь, вошел в комнату. Вся его фигура излучала необычность.

Все притихли. Только завуч напустил на себя еще большее самодовольство.

– Влюблен был малыш в Глашку-то, – внушительно и осторожно, точно речь шла о починке туфель для незнакомки с другого конца города, сказал Дубов. – Молчаливо был влюблен, не по-здешнему. Я в аккурат вижу, кого у нас во дворе осияет. Глаз у меня на это есть... Наблюдал я за Колькой, совестливо наблюдал, не спугнув его... Часто он подкрадывался к дверям, съезживался в подушечку и в вашу большую замочную скважину часами за Глашкой наблюдал... Никто об этом не знал, ни Глашка, никто. Часы выбирал с хитрецей, когда в коридоре никого не бывало...

А Кольку, между прочим, стихи писать тянуло... Посмотрит, посмотрит в щелку в зад и идет на чердак стихи писать...

В это время Анна Петровна швырнула на пол тарелку. Ей стало обидно, что о ней теперь совсем забыли.

”Перед смертью, и то не помнят”, – подумала она.

Мать Коли заплакала:

– И вешался-то, негодяй, смешно, на кухне, только рубашку порвал.

– Успокойтесь, мамаша, – вдруг как-то надутو и деловито сказал завуч. – Мальчик, ты почему повесился? – важно спросил он Колю.

– От счастья! – тихо и с какой-то чудотворной испепеляющей улыбкой отвечал старичок-карлик. – От счастья повесился.

Все опять начали кричать. У Глаши вдруг стал очень значительный вид... Она ни на кого не обращала внимания, но улыбалась самой себе. Она представила, как хорошо было бы сейчас выгнать всех, лечь с Витей и, зажмурив глаза, представлять себе этого странного тоненького заморыша – мальчика Колю.

”Чудно как будет... Дух захватит... Ишь, какие у него глаза, – подумала Глаша, – и мысли потекут... Новые мысли... Веселые, сердечные, кружащиеся...”

С блуждающей улыбкой, чуть виляя телом, она подошла к Вите и сказала вслух:

– Выгони всех, и мать тоже... Лечь хочу...

Витя обомлел и матюгнулся. Мамаша Анна Петровна, вдруг вообразив, что ее уже хотят выкинуть из постели, так была поражена, что даже не стала кричать и швыряться, а ушла в себя и задумалась. Завуч тоже чего-то перепугался, всполошился и стал ни с того ни с сего читать энциклопедию. Вере Иосифовне

захотелось поцеловать Витю, но и она смутилась. Выбежав на кухню, она все-таки не удержалась и поцеловала чайник.

Иван Дубов как-то резко ушел. Лишь Коля продолжал так же тихо улыбаться. В конце концов в комнате остались только Витя, Глаша и Анна Петровна.

А вечером, деловито и спокойно, как летучая мышь прилетает в свое родное гнездо, пришел доктор.

Почти автоматически он проговорил, что произошла ошибка и анализы доказали, что болезнь Анны Петровны пустяшная, и она выздоровит сама собой.

Вите это показалось странным, ненужным и к тому же нелепым. Он хотел даже накричать на доктора.

Но в общем все осталось по-прежнему, и ничего не изменилось, хотя как будто и произошли события.

Остались и это высокое, пустое небо, и кружащийся в легком, сумасшедшем танце мир, и двор, где Иван Дубов чинит обувь только дамам. Все было так же, как вчера, как будет завтра.

ИСТОРИЯ ЕНОТА

(странная сказка)

Жил-был людоед. Это был уже постаревший, разочарованный людоед с толстым и синим брюхом. Брюхо он выставлял всегда вперед или вверх, поближе к Божеству.

Но однажды людоед раскапризничался.

”Не хочу кушать людей, — подумал он. — Все они дураки и вонючие... Мне хочется съесть чего-нибудь такого... этакого... небесного”.

Но так как небесное не так-то легко найти, то бедный людоед совсем проголодался. Брюхо его опустилось, стало мягкое и грустное, как лицо не-здешней жабы.

Наконец, один раз людоед не выдержал и пошел по леску, разогнать тоску, да заодно и скушать что-нибудь живое, что прыгает да скачет, да о Господе плачет.

Повстречался людоеду червячок.

– Вот я его съем, – подмигнул сам себе людоед.

Только он наклонился, изогнув, как красавица, свою спинку и хотел было взять червячка, как подумал: "Не то... не то!" "Больно гадючен червячок для меня и невзрачен, – сказал он. – Точно глаз человеческий... Тьфу".

И пошел людоед дальше. Идет и вдруг видит птичку. Глаз у людоеда тяжелый, как все равно у правительства, так птичка-невеличка не только что замерла, а прямо ему почти в рот, на нижнюю губу села – села, присмирела и ждет своей участи. Только людоед хотел глотнуть, как опять подумал: "Не то". "Больно быстра птичка на ум, – решил он. – Будут еще от ей в моем животе всякие течения".

– Тьфу! – выплюнул птичку с губы куда по-дальше.

Идет людоед и даже песенки не поет. Видит – на тропке енот. Людоед прыг – и между ляжек его зажал... Только он хотел его пригреть в своих внут-ренностях, как – раз, смотрит, вместо енота перед ним, промежду ляжек, маленький людоедик бегаёт, совсем дите, белокурое такое, несмышленное, и на людоеда так по-сыновнему, по-ласковому глядит. Рассердился людоед: как же я своего буду жрать... Нет, не выйдет – подбодрил людоедика легким

шлепком и пустил в травку-муравку, божьему солнцу радоваться да малых деток человеческих кушать... А сам пошел своей дорогой. Но между тем ведь енот его здорово надул. Енот этот был не простой, а волшебный, с хитрецей. Он – этот енот – как только на него враг какой, обжора, нападал – мигом в племя врага и оборачивался, только дитем. Если нападал на него волк, то он оборачивался волчонком, если медведь – то медвежонком. Так и жил себе енот припеваючи, и на самую судьбу поплеывал. Но надо сказать, что сейчас этот енот был уже полусумасшедший. И после того как он так ловко отделался от людоеда и обернулся опять в енота, то шибко загрустил и пустил слезу. Очень жалко ему стало людоеда, что он ходит такой голодный.

”Лучше бы он меня съел”, – усовестился енот.

Побежал енот вслед за людоедом и видит: стоит людоед на поляне, и можно сказать, совсем дошедший: сам себе могилу копает. Тогда енот ему говорит:

– Людоед, людоед, хочешь, я тебя досыта накормлю, да так, как ты никогда не ел.

Вильнул людоед задом и бегом за енотом.

Бегут, бегут – и все вперед, кругом царств всяких, республик, зверей видимо-невидимо, а они все бегут.

Наконец прибегают они к дому, вокруг которого большое хозяйство.

На кольях – головы человеческие торчат, на заборе кишки, а под окном – рядком, ряд в ряд – ноги стоят без туловища, как все равно валенки или сапоги.

А посередине людоедиха огромная, жирная, белотелая стоит, без рубашки, и груди ее пропитаны кровью блаженных младенцев.

В корыте – дерьмецо людское стирает: кишки там всякие, внутренности, чтобы засолить на случай голодухи.

Возмутился людоед: ”куда ж ты меня привел, к своей, это моя жена!” А енот между тем, полусумасшедший, вильнул хвостом и рраз – вместо жены своей изумленной видит людоед мечту брюха своего: пышного, всего в белом, ангела, сладкого, как мороженое, совсем, можно сказать, небожителя. Ахнул людоед, прыг, скок, повалил ангела – и ну его есть... Всего сожрал, без остатку.

Так хитрый, полусумасшедший енот накормил людоеда собственной женой, обнажив в ней небожителя.

ИЗНАНКА ГОГЕНА

Молодому, но уже известному в научных кругах математику Вадиму Любимову пришла телеграмма из одного глухого местечка: умирал отец. Любимов, потускнев от тоски, решился поехать, взяв с собой жену – Ирину. В поезде он много курил и обдумывал геометрическое решение одной запутанной проблемы.

Сошли на станции тихим летним вечером; их встречала истерзанная от слез и ожидания семнадцатилетняя сестра Любимова Наташа, – отец в этом городе жил одиноко, только с дочкой. Сухо поцеловав сестру, Вадим пошел вместе с ней и женой в невзрачный, маленький автобус. Городок был обыкновенный: низенькие дома, ряд ”коробочек”, дальние гудки, лай собак.

Люди прятались по щелям. Но в автобусе до Вадима долетела ругань. Ругались одинокие, шатающиеся по мостовой фигуры. Несколько женщин неподвижно стояли на тротуаре спиной к ним.

Вскоре подъехали к скучному, запустелому домику.

Ирина была недовольна: успела промочить ноги. Наташа ввела ”гостей” в низенькие комнаты.

Опившийся, отекавший врач сидел у больного. Увидев вошедших, он тут же собрался уходить.

– Что возможно, я сделал. Следите за ним, – махнул он рукой.

Матвей Николаевич – так звали умирающего – был почти в беспомощности.

– Ему еще нет и шестидесяти, – сказал Вадим.

Ирина плохо знала свекра, ее напугала его вздымающаяся полнота и странный, очень живой, порсячий хрип, как будто этот человек не умирал, а рождался.

– Отец, я приехал, – сказал Вадим.

Руки его дрожали, и он сел рядом.

Но отец плохо понимал его.

– Наташенька... Наташенька... молодец, ухаживала, – хрипел он.

– Ты как мужчина будешь спать с отцом в одной комнате, – заявила Ирина.

Вадим первый раз пожалел, что он мужчина. Ночью Матвей не раз приподнимался и, голый, сидел на постели. Он так дышал, всем телом, что казалось, впитывал в себя весь воздух. Он действительно раздулся и с какой-то обязательной страстью хлопал себя по большому животу; делал он это медленно, тяжело, видно, ему трудно было приподнимать руку; часто слезы текли по его лицу; но он уже ничего не соображал.

Наконец Матвей Николаевич грузно плюхнулся на бок, и вдруг Вадим услышал, что он запел, запел как-то без сознания, вернее, заныл, застонал что-то свое, похожее на визг резаной свиньи. Но только не с предсмертной истерикой, а с небесными оттенками; в этом поющем визге чудилось даже что-то Баховское.

Вадим встал посмотреть в чем дело, но когда подошел, отец был уже мертв.

Везде стало тихо. Наутро Ирина сказала про себя: ”Быстро отделались”. Наташенька плакала.

– Останемся здесь на несколько дней, – решил Вадим. – Успокоим сестру. Может быть, удастся взять ее в Москву.

Похороны прошли быстро, бесшумно, как полет

летучей мыши. Земля на могиле была красная, мокрая и такая, точно ее месили галошами.

В доме Матвея Николаевича стало еще проще; одна Наташенька рыдала; Вадим слегка напрягая волю, уже занимался своими вычислениями и про себя очень гордился этим. А Ирина даже на похоронах вязала кофту.

Так прошло три дня.

А поздно ночью в комнату, где спала Наташенька, кто-то постучал; дверь приоткрылась, и вошел Матвей Николаич, ее отец.

Когда Наташенька очнулась от обморока, он сидел на кровати и гладил ее белой рукой по голове.

— Я жив, дочка, — сказал он, глядя прямо на нее отсутствующими глазами. — Это был просто летаргический сон. Видишь, я только сильно похудал.

— Папочка, как же ты вышел из могилы, — еле выговорила она.

— Сразу же выкопали, дочка, выкопали. Произошла ошибка. Я был в больнице, — каким-то механическим голосом произнес Матвей Николаич. — Ты не бойся. Вот я и похожу.

И он, приподнявшись, неуверенно, как будто глядя на невидимое, прошелся по комнате, но как-то нечеловечески прямо, никуда не сворачивая.

— Я Вадю разбужу, пап, — пискнула Наташа.

— Разбуди, доченька, разбуди, — спокойно ответил старик.

— Вадя, папа пришел, — улыбнувшись, проговорила Наташа, вбежав в комнату Вадима. Ирина крепко спала.

— Ты что, рехнулась, Наташ, — произнес Вадим, спокойно позевывая.

— Пойди посмотри, Вадим, я сейчас заплачу.

– Э, да тебя трясет. Придется лекарство дать.

Вадим, поискав спички, чтобы закурить, пошел через коридор в Наташину комнату. Сестренка за ним.

Матвей Николаич стоял у окна и ничего не делал; не двигался с места, как статуя.

– Папа... ты!!! – заорал Вадим, и у него начались судороги.

Он не верил даже в существование галлюцинаций; поэтому он видел то, что – по его мнению – невозможно увидеть; это был почти шок.

Стало выводить его из этого состояния неоднократно повторенное объяснение, которое ровным ледяным голосом давал отец.

– У меня был летаргический сон. Произошла ошибка. Меня сразу же откопали, – повторял он.

Слова "летаргический сон", употребляющиеся в науке, оказали почти магическое воздействие на Вадима; он приходил в себя, лишь щека подергивалась.

– Ну, мы так рады за тебя, папа, – проговорил он наконец, словно опоминаясь. – Пойдемте к столу... Наташа, надо бы выпить за папино выздоровление.

Наташа быстро вышла в сад, где погреб, за вином.

Вадим, смущенный, стоял у стола; отец был рядом; лунный свет падал на него.

– Это так неожиданно, – теребя сам не соображая что, бормотал Вадим. – Признаюсь, я ничего не смыслю в медицине... Тебя так глубоко закопали... Я математик... Кривизна поверхности...

– Подойди ко мне, сынок, – перебил его старик, правда, без интонации. – Мне было так страшно... Дай я тебя поцелую.

...Наташенька, взяв из погреба вино, уже подхо-

дила к двери своей комнаты, когда вдруг услышала дикий вопль. Сомнамбулически, уронив вино, Наташа бросилась в комнату.

Вадим валялся на полу, а старика нигде не было; Наташенька подбежала к брату; лицо его исказилось, и он прижимался к сестриным ногам; рука металась.

– Он укусил меня, – прошептал Вадим.

Сквозь стон и непонимание Наташа различила, что отец приник, как будто целуя, к голому плечу Вадима; но потом разом впился и укусил его, злобно и непонятно; Вадим от необъяснимости всего этого заорал и стал дергаться, а старик вдруг выпрыгнул в окно.

– Это не он; отец ведь никогда не прыгал в окна, – бормотал Вадим, – тут что-то дико, странно, не то...

Они пошли будить Ирину. В том, что произошло нечто из ряда вон выходящее, Ирину убедило только глупое и истеричное лицо Вадима. Таким она его никогда не видела.

– Вадя, летаргический сон – это чушь, – взволнованно-напряженно проговорила она, внимательно глядя на Вадима. – Все равно он быстро бы задохнулся в гробу. Как ты на это не обратил внимания. Просто вы оба перенервничали, отсюда срыв... Галлюцинации... они же бывают осязательными...

– А ранка?

– Она могла появиться от нервного потрясения...
Вспомни стигмы...

Вадим утешился: все, что произошло, получало научное объяснение. Но тут же побледнел: неужели он сходит с ума.

Весь следующий день прошел подавленно.

– Все это временно, – говорила Ирина, озадаченная, а сама думала: "Если бы это произошло с этой

слезливой душой Наташенькой – одно дело; ей могло и присниться, но Вадим... с его сухостью, практичностью... Кроме того, ведь Вадим очень здраво любил отца: он почти не переживал на похоронах и потом все время был спокоен... Это не нервы... Уж не сошел ли он с ума по-настоящему”.

Обдумывая все это, Ирина гуляла по садику и, подкармливаясь пирожками с луком, уже строила планы, как ей проще и выгодней бросить Вадима, если он действительно сошел с ума.

Наташенька плакала, пригревшись на кровати, иногда читала стихи. Она охотно верила, что на нервной почве можно и на луну улететь.

Вадим же был совершенно уничтожен; он чувствовал себя в беспомощности и неразрешимости; и это была совсем не та неразрешимость, с какой он сталкивался раньше, простая и скучная неразрешимость математических задач; он надеялся только на время, которое вынесет его из этого положения... Он просто ждал, пытаясь ни о чем не думать.

Спать легли все вместе, втроем, в одной комнате: Наташа долго не могла успокоиться, но потом, измученная, по-детски крепко заснула.

Под утро, почувяв шорох, Вадим проснулся.

Матвей Николаич, босой, стоял, наклонившись над спящей дочерью; лицо его застыло совсем около Наташиной груди; Вадиму послышалось, что он очень смрадно и хрипло причмокивает.

Тогда молодой ученый вдруг начал произносить про себя математические формулы; ему – в дрогнувшем уме, – показалось, что от их устойчивой реальности Матвей Николаевич пройдет, можно сказать, испарится. Но старик не исчезал, даже совсем напротив.

Как приговоренный, Вадим толкнул Ирину. Увидев свекра, она завизжала. На визг отец обернулся, и они увидели его тяжелый, пухлый лик. Матвей Николаевич как-то отсутствующе рванулся и исчез в окне.

Ирина теперь и не обращала внимания на стоны Наташи. Она поглотилась одной мыслью: все они, втроем, заболели массовым помешательством, но самое главное: заболела она.

Наутро они не решились обратиться к врачу. Решено было по возможности скорее ехать в Москву лечиться в "центре".

Вадим стал похож скорее на лешего, чем на ученого, и больше всего боялся потерять свои математические способности.

Но, как ни странно, больше всех перетрусил Ирина; она лежала в саду на траве и гладила свои жирные ляжки, страх перед помешательством пригвоздил ее к земле; но и в ужасе она проявляла здравый смысл: эта история сбила ее планы, и теперь она уже и думать боялась уходить от Вадима. "Кому я такая буду нужна", – мутилось в ее нежной голове... Даже травку она испуганно-утробно принимала за галлюцинацию.

..После того, как Матвей Николаич умер, очнулся он у себя в могиле, под сырой и тяжелой землей. И первое, что старик заметил: он может каким-то странным, непривычно-трудным, но возможным усилием выйти из гроба и этой земли. Словно и он сам, и гроб, и земля стали уже не тем, чем были раньше, до его смерти. Старик пошевелился, но ничего не ощутил. Даже когда он вышел из могилы и сел на соседнюю плиту, то почти ничего не почувствовал; его движения стали неподвижны

Все вокруг изменилось, и в то же время оставалось прежним; две звезды мерцали прямо на него сквозь пелену пространства; но были ли это звезды?! Вероятно, это был уже не совсем тот мир, и не совсем те звезды!

Но ничто не удивляло старика. Что-то замкнулось в нем раз и навсегда для человеческих чувств.

Он мог думать, но как-то формально.

А огромное поле сознания вообще ушло от него; исчезли многие понятия, особенно такие, как Бог, мир, жизнь; другие он помнил, например, "люди", "родные", но отдаленно; их значение было стерто и совсем не задевало души.

Все прежние, но еще сохранившиеся в нем слова стали как исчезающие символы.

Старик побрел мимо кладбища. Он видел все прежние деревья, ряды и хаос могил; дальние дома; но все это приобрело вымороченный, странный вид; как будто в миру появились какие-то новые свойства, которых не было при его жизни.

Как труп, брел он по опустошенному и выхолощенному миру. По пути ему попались два одиноких прохожих, которые посмотрели на него и прошли мимо... Старик равнодушно отметил, что люди, наверное, видят его так, как будто бы он был человеком, но он видит и понимает их совсем по-другому.

Он не чувствовал никакой, хотя бы просто логической связи между собой и оставшимися людьми; они казались ему существами из другого мира, более далекими, чем раньше – при жизни – казались бы ему марсиане.

Существовал он или нет? Конечно, существовал, но это было ни на что не похожее существование; словно он наполнился каким-то тусклым самобыти-

ем, все время себя снимающим и выталкивающим в пустоту.

Мысли больше не были мощным источником его жизни; тело свое – в прежнем значении – он тоже не ощущал; человеческая речь отодвинулась куда-то далеко-далеко, еле значилась...

Он не заметил, как очутился около своего дома.

И вдруг он почувствовал в себе потребность, первую потребность, которая возникла в нем после смерти.

Она вошла в него сразу, грозно, тихо и неумолимо, как чудовищное, необъяснимое поле реальности. Он и не думал ей сопротивляться; ничему не удивляясь, он тупо пошел через сад, к дому.

Эта потребность была – напиться, напиться до полной потери сознания, человеческой крови, любой, но лучше своих близких.

Но он, однако, не знал, зачем, зачем это нужно делать! Просто он не мог поступать иначе, как будто сосание человеческой крови стало единственной реальностью, существующей на земле. В остальном мир был пуст и мертв.

Осторожно, затаясь, он проник в комнату дочери. И когда она упала в обморок, припал к ее голой ляжке, у самой ягодицы, где синела нежная кровеносная жилка. Надкусив кожу, он, сухо причмокивая, стал пить кровь, и так ясно, как будто уже давно был к этому предназначен. Странно, он не чувствовал при этом никакого удовольствия!

Формально он сознавал, что пьет кровь собственной дочери, но это знание было такое отдаленное и ненужное, как если бы он знал, что где-нибудь в Австралии идет дождь.

Наташа очнулась вскоре после того, как он бросил кровососание.

И тут в его мертвую голову пришла мысль объяснить свое появление летаргическим сном. К счастью, Наташа не заметила маленькой ранки на ляжке.

Старик, как мы знаем, монотонно произнес свое "объяснение"; мысли возникали где-то на поверхности его сознания, и он почти не ощущал их реально, хотя внешне говорил правильно.

Когда пришел Вадя, старик вел себя точно так же, тихо и приглушенно. Но он обратил внимание на то, что его теперешние, нездешние силы будто бы соответствуют его прежним, физическим силам, хотя, опять-таки, субъективно он почти не ощущает их.

Когда Вадя остался один, старик снова почувствовал упорную потребность; но на этот раз мертвец пустился на хитрость, выдавая кровососание за отеческий поцелуй.

Присосался он так же безжизненно, пустынно. Но, оказывается, Вадим не только дернулся, а впопыхах схватил отца за горло, и это была сильная мужская хватка. И тут-то – среди полного безмолвия в своей душе – мертвец вдруг ощутил дикий страх за свою трупную жизнь; он даже почувствовал толчок своего отошедшего сердца. Это было уже настоящее, живое чувство! Извивнувшись, мертвец вырвался из объятий сына и выскоцил в окно.

Но этот страх долго не оставлял его.

Каждая разрушенная клеточка его тела содрогалась от желания жить – смрадно и непонятно; это был вопль гниющего, но желающего сохранить себя распада; одинокие, мертвые токи в животе.

Он вспотел и погладил себя по телу; его пот скорее напоминал трупные слезы... Постепенно страх за свою

могильную жизнь – единственно доступное ему полуживое чувство, смешанное все-таки с небытием, – затих.

Он опять погрузился в свое одиночество, в котором ничего не было, кроме абстрактной потребности к кровососанию.

Наконец он оказался у глухой улочки, с фонарями, уже совсем обычный; он даже позабыл, что с ним произошло. Деревья, домишки, смотрели на него неподвижно и парализованно. Лил дождь, но он не ощущал его. По небу проходили скрытые ненужные тучи.

Старик был во власти какой-то трупной бесконечности. Не только себя он ощущал как труп – но и весь мир как продолжение своей трупности.

Но мир не интересовал его. Он заметил, что идет не к могиле, и неожиданно улыбнулся. Он шел к одному хорошо знакомому дому, где жили его прежние друзья; двое маленьких детей спали там в одной комнате, рядом спали родители.

Оказавшись в палисаднике, он осторожно подобрался к окну.

Вдруг старик по-мертвому вздрогнул: дверь у крыльца приоткрылась, и вышел мальчик лет девяти. Он живописно пошел по лунной дорожке к дощатому туалету.

Старик неслышно последовал за ним и, улучив момент, бросился на него. Мальчик был сразу оглушен, или, скорее, парализован от страха; он лежал на траве под мертвецом; его открытые глаза кутенка смотрели на старика, но сознание мальчика сузилось, ушло в одну точку.

Старик пил долго, въедливо шевелясь и дергаясь ногой. Трава вокруг этой возни порядком примялась.

Так прошло около получаса. Наконец старик отряхнулся и встал; мальчишка, мертвый, лежал у него в ногах. Неторопливо старик пошел прочь.

Теперь он знал, куда идти: к себе, в могилу. Он быстро отличил ее среди других таких же могил; влез туда – по той же способности, благодаря которой он вылез из нее, – и притих, разместившись в гробу. Вдруг приятный румянец появился у него на щечках; губки сделались красными, налившись кровью; и ногти на руках и ногах, кажется, стали расти.

Самое странное было то, что он не испытывал никакого живого удовлетворения; субъективно это впитыванье и перевариванье было так же мертво, как и кровососание.

Но глаза мертвеца широко открылись, он дышал совсем по-человечески; распух, особенно в брюшке.

Весь день он пролежал в гробу; а ночью опять пошел к родным, это второе посещение было, как известно, неудачным: он не успел напиться Наташиной крови.

На следующий раз он вышел к вечеру; еще было светло; никто не обратил на него внимания, и он спрятался около своего дома, наблюдая. Он ждал, когда Вадим с Ириной отлучатся. Что так тянуло его к дочери?

А его родные, напуганные своим мнимым помешательством, только что пришли с билетами в Москву; старик терпеливо ждал.

Наконец Вадим и Ирина вышли пройтись. "Надо подышать свежим воздухом – это лучшее лекарство", – услышал старик слова Вадима. Они сделали это так эгоистично, что забыли взять с собой Наташу, и она осталась одна, даже не подозревая об этом.

Прождав немного времени, мертвец, чуть нахло-

нив туловище, пошел в дом. Увидев его, Наташа похолодела; по всем ее жилам прошел трепет мороза.

Отец подходил к ней с открытыми глазами, в которых были мутная неподвижность и застой. Увидев отца в этой обыденной обстановке, при свете еще не исчезнувшего дня, Наташа вдруг инстинктивно поняла, что это реальность, а не "галлюцинация", и крикнула из последних слабеющих сил:

– Папочка, папочка, что ты делаешь?!

Старик воспринял эти слова где-то на поверхности своего неживого сознания; и вдруг что-то в нем дрогнуло, надломилось. Он проговорил машинально, сдавленно:

– Деточка... это же не я... не я... это... это...

А что было "это", знал ли об этом сам мертвец!! Но он еще выговорил: "Я ничего не могу с собой сделать".

В Наташе было встрепенулась искра надежды: ведь произошел какой-то контакт, какое-то понимание; но все это произошло лишь в исчезающей, человеческой части сознания старика; лишь оттуда донесся этот слабый знак: "не я"; а внутри... внутри... в глубине его теперешней души он знал, чем стало его "я"; и оно стало дрожью небытия и кровососания.

Поэтому его слова не изменили его действий; произнеся их, он неумолимо приближался к дочери... и впился в нее: Наташа потеряла разум.

Когда Вадим с Ириной пришли, Наташа была уже еле жива. Супруги почему-то чуть не подрались. Наташу на подвернувшейся машине отвезли в больницу, а потом, через несколько дней, перебросили в крупный город, в психиатрическую клинику. Она улыбалась, до конца дней своих.

В дальнейшем Вадим совсем скис; врачи ставили

шизофрению; но он просто вдруг отупел математически; это придавило его, как клопа; он стал даже плакать, вспоминая свои "галлюцинации", порывался предложить что-нибудь дельное, но оказывался бессильным, как школьник. В конце концов он опустил, забросил математику и жил дико, грязно и уединенно, жалуясь на неутоленное самолюбие.

Одна Ирина более или менее выкрутилась, благодаря своей животной любви к себе; она быстро бросила Вадима и где-то пристроилась.

...Между тем старик был раздасодаван бегством родных; теперь появилась необходимость искать чужую кровь. После их отъезда он долго бродил, неприкаянный, по перрону, не стесняясь присутствия живых людей.

Следующие два дня прошли для него как в тумане.

Мальчика, которого старик задушил, громко и помпезно хоронили. Считалось, что его уничтожила местная шпана.

Старик сам немного постоял у могилы после того, как все ушли. Он совсем сморщился и посерел, как опустившая крылья старая птица.

Но ночью он нашел наконец объект для кровососания. Это была очень жирная, прожорливая баба лет сорока, которая любила спать на воздухе, в саду, под душистым кленом.

Она спала много, крепко, с вечера, прикрывая лицо томиком Гете.

Старик приноровился обходиться малым: подкрадывался к ней незаметно, как мышка; и высасывал понемножечку, не теребя, так что женщина не просыпалась. Иногда ей только снились странные, цветные сны. Мертвец считал, что ее хватит надолго.

Правда, в первую ночь, когда он уже возвратился и улегся в гроб, его стошнило. Зато больше он уже не лез к ее грудям, выбирая более тихие места, у бедер или сбочка.

Взгляд его совсем костенел, пока он сосал. По-своему успокоенный, старик некоторое время не чувствовал "потребности" особенно днем. И тогда он существовал, как в заколдованном круге, в тишине, очень опустошенно. Вскоре у него появилась глупая привычка прогуливаться по городу, даже по утрам.

Вряд ли кто-нибудь мог теперь его признать: после отъезда родных лицо его совсем изменилось, приобретая жуткое, законченно неземное выражение. Однако один приехавший с Севера земляк, не слышавший о его смерти, чуть не узнал его, раскрыв руки для объятий: "Матвей Николаич... батюшки... Как ты переменялся!" Но старик так посмотрел на него, что земляк похолодел и пробормотал, что ошибся.

Иногда мертвец заходил в библиотеку или разговаривал с девочками. Он был весь во власти какого-то бесконечного отсутствия и реальности небытия, насколько это можно себе представить. Девочки не могли с ним долго беседовать: казалось, он дул им в рот небытие. Они капризничали и плакали. Но он никак не мог понять, живут они или нет.

В библиотеке он выбирал книги наугад; чаще всего ему попадался Кальдерон. Он немного прочитывал, чуть улыбаясь; но все написанное казалось ему происходящим на луне или в спичечной коробке. Все было маленькое, потустороннее и нередко принимало характер обратного действия; как будто к обычной земной реальности присоединялась еще другая, непонятная, и от этого все происходящее имело уже другой, сдвинутый, не наш смысл.

Точно таким же он чувствовал все остальное, нечитаемое. Даже собачий лай был закутан в плотную оболочку иного смысла. А в себе он иногда чувствовал икание, только это было не физическое икание, а икание пульсирующего несуществования. Взгляд его то мутнел, то становился яснее. Но эта ясность ничего не меняла в мире.

Харкая, он удалялся к себе, в могилу, но уже странным образом хотел так жить, жить в самодовлеющей полутрупности.

Лишь мутное ощущение, что это еще не все, что с ним многое еще произойдет неизвестное, тревожило его.

Как-то, прогуливаясь по городу, он остолбенел: вдруг увидел двух существ, внутренне похожих на него.

Они шли прямо по улице, друг около друга, и он их выделил среди обычной суетности по мертвому взгляду и по особым, безучастным движениям. Подошел к ним и сухо спросил:

– Мертвецы?

Тот, который был побольше, улыбнулся и сказал меньшему:

– Этот наш, оттуда. Разве не видишь?!

– Михаил, – представился меньший.

– Николай, – представился больший. Не говоря ни слова, пошли вместе дальше.

Вышли за склады, где красная стена и бревна.

Присели рядом. Молчание длилось долго. Старик был безразличен даже к себе подобным, но исчезающим умом своим удивился: "Нас много... значит, мы – целый мир!"

Большой мертвец держал в руке портфель.

– Я летел сюда на самолете, – произнес он. – Говорят, здесь хорошие места.

– Я тоже в этой округе недавно. Обжился в соседней деревне, – добавил меньший.

– А где ваши могилы? – равнодушно спросил старик.

– Не все ли равно, – ответил Николай. – Ты много думаешь или полностью ушел? – обратился он к старику.

– Куда ушел?

– Ну что, не знаешь? – улыбнулся Николай. – Туда, где есть одно нет.

– А я много думаю, – вставил другой, Михаил, – но мои мысли совсем увязают там, где есть одно нет. Я теперь не понимаю их значения. Они мелькают и нужны, чтоб только оттенять то...

– Дурак, – перебил старик. – Я уже совсем не думаю. Оно овладело мной полностью. И это лучше, чем раньше, при жизни...

– У меня тоже нет мыслей, – продолжал Николай. – Если и появляются, то это просто слабоумные, распадающиеся огонечки, через которые я еще вижу ненужный мир.

– Как ладно говорит, – произнес Михаил, – ведь Коля был писатель.

– Значит, дурак, – сказал старик.

Опять помолчали. Летали птицы, уходя в жизнь. Где-то стонали гудки.

– Ишь, луна какая, – проговорил, оскалась на небо, Николай.

– Много мы сегодня говорим. Голова кружится, – процедил Михаил. Пора жить своим.

– А когда я сосу кровь, я кажусь себе цветком. Только железным, – не выдержал Николай.

– Ну, хватит, ребята, – прервал старик, поднявшись. – Расстанемся.

Мертвецы встали. И пошли в разные стороны, кто куда.

Лежа в могиле, старик мочился. Но он не чувствовал этого. Что-то укачивало его, и видел он за этим концом еще и другие концы.

Дня через два Николай поймал старика у кино-театра.

– Пойдем, с кем я тебя сейчас познакомлю, – прогнусавил он.

Старик пошел за ним, и на скамейке, в уютном уголке, под зелеными шумящими деревьями увидел Михаила, который сидел, положив ногу на ногу, и с ним еще двоих, тоже, по-видимому, мертвецов.

Один-то оказался просто мертвеченок, дитя лет тринадцати. У него были оттопыренные, большие уши, и он смрадно, до ушей улыбался, глядя на старика.

”Этот свой”, – подумал старик, но второй незнакомец озадачил его. Он был живой; это ясно видел ”Матвей Николаич”; и от отвращения его пробрала трупная дрожь; но на лице живого виднелась какая-то обреченная, сдавленная печать.

– Кто это? – тревожно спросил старик.

– Самоубийца, – угодливо пояснил Миша. – Будущий, конечно. Но неотвратимо, и по судьбе, и по желанию его так выходит. Он бы кончил с собой давно, да вот с нами познакомился. Хочет немного погодить. Вертер эдакий.

Миша, будучи мертвецом, мог говорить языком писателя. Коля же, при жизни писатель, не раз заговаривал по-дикому и ублюдочно. Все это было на поверхности, ведь суть их слишком удалась от этой жизни.

– Учти, как тебя... старик... Самоубийц мы не трогаем, это табу, – сказал Николай.

Самоубийца, смущенно улыбаясь, покраснев, привстал.

– Матвей, – мутно глядя на него, произнес старик.

– Саня... Если бы не ваш брат, то давно бы повесился, ей-Богу, – засуетился самоубийца. – Никогда не встречал такого хорошего общества. Как в гробу. Всю бы жизнь на вас глядел.

– Немного истеричен. Плаксив. Чувствуется, из живых, – пояснил Миша.

– Зато Петя, наш Питух, хоть из детей, а мертвенькой, – костяным голосом пропел Николай, – даже из глаз пьет кровь. Петь, покажись.

Петя выглянул из-под бока меньшего мертвеца и молча улыбнулся.

– Очень смущаюсь я, что из меня после смерти получится. Вот оттого и суетлив, – вмешался, опять покраснев, самоубийца. – Вот если б как вы стать, то есть жить небытием... А то вдруг просто "нуль" получится, в буквальном смысле... Вот конфуз. Нехорошо, – блудливо бегая глазками, произнес он, – или не туда угодишь... Или еще что... Вот на вас только гляючи и умиляюсь: не всех людей загробные ужасы ждут... Утешаюсь, можно сказать...

– Пошли, ребята, в лес, – прервал Михаил, – скоро все слова забудем. И так с трудом говоришь, как заколдованный.

Брели молча, к медленно заходящему солнцу. Петя щелкал зубами, – эдакий детский трупик – опережал всех, бегая по полю и срывая полевые белые цветочки.

– Неужели он понимает, что делает? – спросил самоубийца у Николая.

Вдали виднелся скрытый, точно загримированный лес. Щebetанье птиц, звон стрекоз и кузнечиков,

порывы ветра – все было, как предсмертный стон больного, и далеко-далеко.

А старик, от всего мира ушедший, вдруг почувствовал, что ему не по себе даже среди своих. Но он шел, замкнувшись в небытии.

Пришли на поляну. Расположились.

Николай, когда садился, как-то мертво, в пустоту, улыбнулся.

– Устал я от слов, – проговорил Михаил. – Разве это веселие? Надо что-нибудь свое, трупное.

Старику же стал неприятен Петя: он катался по траве, как бесенок, подбегал то к одному мертвецу, то к другому и дергал их за ухо. Но сам не получал от этого никакого удовольствия, и взгляд его был тяжелый, недетский, как у гиппопотама.

Впрочем, старику показалось, что у мертвечонка сквозь его неживые глаза пробивается все-таки нахальство.

– Ну, споем, – пробасил самоубийца.

Оказывается, под мышкой у него торчала гитара; старик раньше и не заметил этого.

– Пусть Петя, соло, – произнес кто-то из мертвецов.

Мертвечонок сел в центр круга; всюду на него смотрели друзья. Вдруг Петя запел. Рот его разевался до ушей, обнажая недетскую пасть; и было странно, что у трупа такой подвижный и раскрывающийся рот; оттопыренные ушки его покраснелись от прилива ранее высосанной крови; личико он поднял вверх, к Господу; неживые глазки прикрыл и пел надрывно, с трудом, даже расширились мертвые жилки на шее.

Что он пел, было непонятно; кажется, популярные песни; но не все ли это было равно?

Мертвецы сидели вокруг молча, насупившись, и

словно застыли в нечеловеческом ожидании самого себя, мертвого. Между прочим, ходил слухок, что Петя единственный среди них позволял себе садизм при кровососании.

Остальным даже садизм был не нужен.

Сейчас все они устали от глупого человеческого языка, от болтовни, которой они обменивались в новинку, и цепенели, и цепенели и цепенели.

Мертвечонок неожиданно бросил петь, пусто и ни с того ни с сего. И вдруг заплакал мертво, сжато и сумасшедше, обнимая руками трупное личико.

О чем он плакал? Он сам ничего не знал об этом, но уже, конечно, не о своей прошлой, живой жизни.

– Спляшем? – предложил самоубийца.

И вдруг все точно сорвались, и заплясали под остервенелый звон гитары. Ай-люли, ай-люли, ай-люли, лю-ли, лю-ли. Плясали все, извиваясь, поднимая вверх и руки, и ноги. Ай-лю-ли, ай-лю-ли.

Казалось, парализованные деревья качаются вместе с ними.

Однако ж это не был человеческий пляс, а пляс небытия, который они непостижимым образом ощущали, неподвижный писк исчезновения, трупная бесконечность; и все "это" истерически тряслось в них, завывая и подплясывая, кружась вокруг себя и ли, неподвижный писк исчезновения, трупная бесконечность; и все "это" истерически тряслось в них, завывая и подплясывая, кружась вокруг себя и поднимая в никуда ручки.

Мертвое болотце тусклого небытия чмокало в их телах, похожих на дым; оно по-трупному попискивало и, обреченно веселясь, оборачивалось в самое себя. Мира не было. Некоторые из них попадали; потом вставали; Николай провалился в канаву.

Но их "физическое" положение было само по себе; все они превратились в единый визг небытия, всю несущийся по их трупному существованию; небытие пищало, выло, улюлюкало, хохотало и неожиданно сморщивалось, застывая. Даже листья деревьев стали как могильные сущности. Мертвечюнок притоптывал ножкой.

Между тем самоубийца уже кончил играть; но веселие продолжалось.

Наконец незаметно для самого себя, старик отошел немного в сторону, в лес; он уже утомился и брел просто так, около кустов и деревьев; шелуха шишек и листьев посыпала его мертвую голову. Лучи солнца пробивались сквозь чашу.

Вдруг ему захотелось испражниться; как раз этой ночью он чересчур много напился крови; очевидно, часть состава высосанной крови иногда выделялась через трупный полукал.

Он присел у большой ели, под кустом, совсем как живой человек; затих.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился самоубийца; остолбенев, он смотрел на испражняющегося мертвеца.

– Так ты жив! Подлец! – заорал он. – Ты гадишь, значит, ты жив!

Лицо его покраснело и подергивалось, точно его ударили по щеке или отняли самое святое.

– Ренегат! – закричал он и бросился к старику. – Шпион... Живая сволочь...

Мертвец не успел опомниться, как самоубийца налетел на него; старик дернулся и вдруг почувствовал, как острый, огромный нож входит ему в грудь.

И тут он завопил, на весь лес, еще сильнее и громче, чем тогда, когда бежал от сына; завопил

по-живому, в утробном ужасе за свое мертвое существование; дернулся ногой, а по лицу уже стекали трупные слезы, и вдруг, сквозь неживые остекленевшие глаза его, выпученные от страха, глянул признак человеческого сознания... И наконец что-то оборвалось... И старик услышал внутри себя пение, и увидел надвигающуюся необъятную полосу, растворяющую в себе весь мир... Его душа уходила в новую, неведомую сферу бытия...

На земле остался теперь уже навеки недвижимый труп: но лицо его уже не было таким застывшим, как при мертвой жизни старика; оно было искажено судорогой человеческого страха и надежды...

Но кто может сказать, что будущее станет лучше настоящего? Ведь нити находятся вне рук человеческих.

УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ

Человечек я нервный, издерганный, замученный противоречиями жизни. Но когда возникают еще и другие противоречия, не всегда свойственные жизни, то тут уж совсем беда.

– Утопи, негодяй, мою голову... – услышал я во сне холодное предостережение, сказанное четырнадцатилетней девочкой Таней, которая за день до этого повесилась у нас под дверью.

Собственно, история была такова. Во-первых, она вовсе не повесилась. Это я сказал просто так, для удобства и легкости выражения. Таня засунула голову в какую-то строительную машину, и когда что-

то там сработало, ей отрезало голову, как птичке, и голова упала на песок. Во-вторых, не совсем у меня под дверью, а шагах в ста от нашего парадного, на пыльной, серой улице, где и велось строительство. Покончила она с собой по неизвестным причинам. Говорили, правда, что ее – часа за два до смерти – остановил на улице какой-то мужчина в черной шляпе и что-то долго-долго шептал ей в ухо. И такое нашептал, что она возьми – и покончи. После этого шептуна упорно искали, но так и не нашли. Думаю, что нашептали кое-какие намеки на... То, то, дальше не буду.

Итак, уже через несколько часов после своей смерти она ко мне явилась. Правда, во сне...

А теперь о наших отношениях. Были они тихие, корректные и почти метафизические. Точнее, мы друг друга не знали, и дай Бог, если слова три-четыре бросили друг-другу за всю жизнь. Хотя она и была наша соседка. Но взгляды кой-какие были. Станные, почти ирреальные. С ее стороны. Один взгляд особенно запомнил: отсутствующий, точно, когда маленькие дети рот раскрывают от удивления, и в то же время по-нашему пустой, из бездны. Потом я понял, что она вовсе не на меня так смотрела, а в какой-то провал, в какую-то дыру у лестницы. А вообще-то взгляд у нее был всегда очень обычный, даже какой-то слишком обычный, до ужаса, до химеры обычный, с таким взглядом курицу хорошо есть. А порой, наоборот, взгляд у нее был такой, как если бы мертвая курица могла смотреть, как ее едят.

И все, больше ничего между нами не было. И поэтому, почему она ко мне пришла после смерти – не знаю. Просто пришла – и все. Да еще с таким старомодным требованием.

Но я сразу понял, как только она мне приснилась в первый раз, что это серьезно. Все серьезно, и то, что она явилась, и то что она явилась именно ко мне, и то, что она настаивала утопить ее голову. И что теперь покоя мне не будет.

Тут же после сновидения я проснулся. Вся мелкая, повседневная нервность сразу же прошла, точно в мою жизнь вошло небывалое. Я открыл окно, присел рядом. Свежий ночной воздух был как-то таинственно связан с тьмой. "Ого-го-го!" – проговорил я.

...Только под утро я заснул. И опять, хотя вокруг моей сонной кровати уже было светло, раздался все тот же металлический голос Тани: "Утопи мою голову!" В ее тоне было что-то высшее, чем угроза. И даже высшее, чем приказ.

Я опять проснулся. Умственно я ничего не понял. Но какое-то жуткое изменение произошло внутри души. И кроме того, я точно ослеп по отношению к миру. Может быть, мир стал игрушкой. Я не помню точно, сколько прошло дней и ночей. Наверное, немного. Но они слиты были для меня в одну, но разделенную внутри, реальность: день – слепой, белый, где все стало неотличимым, ровным; ночь – подлинная реальность, но среди тьмы, в которой, как свет, различался этот голос: "Утопи, утопи мою голову... Утопи, утопи, утопи..." Голос был тот же, как бы свыше, но иногда в нем звучали истерические, нетерпеливые нотки. Точно Таня негодовала – сердилась и начинала сходить с ума от нетерпения, что я медлю с предназначением. Эта ее женская нетерпеливость и вывела меня из себя окончательно. В конце концов куда, зачем было так торопиться? Таня еще была даже не похоронена, тело лежало в

морге, а родителям ее сказали, что голова уже надежно пришта к туловищу. Не мог же я, как сумасшедший, бежать в морг, устраивать скандал, требовать голову и т.п. Согласитесь, что это было бы по крайней мере подозрительно. Тем более, я-то ей никто. Может быть, ее родители еще могли бы запросить ее голову, но только не я. А обращалась она ко мне!

Отчетливо помню день похорон. Здесь уже я начал подумывать о том, что бы такое предпринять, чтобы стащить ее голову. Но остановило меня то, что ее хоронили по христианскому обряду. Значит – во время похорон нельзя. Я даже смутно надеялся, что после таких похорон она успокоится. Ничуть. После похорон ее требования, ее голос стал еще более безумен и настойчив.

Через два дня после похорон я попробовал обратиться за консультациями.

Решил идти в райком комсомола. Я, естественно, комсомолец, кончил университет; добровольно сотрудничал в комсомольско-молодежном историческом обществе. Там мы занимались в основном прошлым, особенно про святых и чертей; кому что по душе – кто увлекался Тихоном Задонским и Нилом Сорским, кто – больше про чертей и леших. А кто – и тем, и другим. Это и была наша комсомольская работа. Так вот, Витя Прохоров в этом обществе видный пост занимал, по комсомольской линии. Сам он был мистик, отпустил бороду и в Кижии наезжал чуть ли не каждый месяц. Знания у него были удивительные: от астрологии до тибетской магии. Потом его перебросили в райком комсомола, зав. культурным и научно-атеистическим сектором. Вот к нему-то я и устремился на второй день после похорон Танечки.

...Витя встретил меня в своем маленьком и скром-

ном кабинетике. На стене висел портрет товарища Луначарского. Взглянув на меня, он вытащил из какого-то темного угла пол-литровку и предложил отдохнуть. Но я сразу, нервно и взвинченно, приступил к делу. Выложил все как есть, про Танечку... Он что-то вдруг загрустил.

– А наяву, у тебя не бывает видений Тани? – спросил он, даже не раскупорив бутылку с водкой.

– Нет, никогда. Только во сне, – ответил я.

– Значит, дело плохо. Если бы днем, наяву – другой подтекст, более легкий.

– Я так и думал! – взмолился я. – Только во сне! А днем – никаких знаков, но в меня вошла какая-то новая реальность. Все парализовано ею. Я не вижу мир. Я знаю только, что мне надо утопить ее голову!

– В том-то и дело. Это твоя новая реальность – самый грозный знак. Голос – пустяки по сравнению с этим... Когда, говоришь, ее похоронили?

– Два дня назад.

– Вот что, Коля, – буднично сказал Прохоров, – скоро она к тебе придет. Не во сне, а наяву, в теле.

– Как в теле?

– Да очень просто. Ты все-таки должен знать, что, например, святые и колдуны обладают способностью реализовывать так называемое второе тело. Это значит, что они могут, скажем, спать, и в то же время находиться в любом другом месте, очень отдаленном, например, но заметь, не в виде "призрака" или "астрала", а в точно таком же физическом теле, в его, так сказать, двойнике. Иногда они так являлись к друзьям или ученикам. Хорошие это были встречи. Святые это делают, конечно, с помощью коренных высших сил, колдуны же с помощью совершенно других реалей... Так вот, более или менее естествен-

ным путем это может иногда происходить и у самых обычных людей, только сразу после их смерти... Короче, приходят они порой к живым в дубликате, в физическом теле своем, хотя труп гниет...

– Очень может быть, – как-то быстро согласился я.

– Э, Коля, Коля, – посмотрел на меня Прохоров. – Все так просто в жизни и смерти, а мы все усложняем, придумываем... В Кижях, между прочим, один старичок очень забавно мне рассказывал о своей встрече с упокойницей сестрицей... Но учти, с Таней все гораздо сложнее... Она – необычное существо...

– Хватит, Виктор. Все понятно. Дальше можешь не говорить. Давай-ка лучше выпьем. Надеюсь, у тебя тут не одна пол-литра.

И мы напились так, как давненько не напивались. Прохоров даже обмочил свое кресло. Комсомольская секретарша, толстенная Зина, еле выволокла нас, по-домашнему, из кабинета – в кусты, на травку перед райкомом. Там мы и проспали до поздней ночи – благо было тепленько, по-летнему, и никто нас не смущал. Вытрезвительная машина обычно далеко объезжала райком.

Глубокой ночью я еле доплелся до дому. Пустынные широкие улицы Москвы навевали покой и бездонность. Наконец дошел. Зажег свет в своей каморке, лег на диван. Но заснуть не хотел: боялся Таниного голоса.

Еще два дня я так протянул. А ведь знал, что тянуть нельзя. Надо было тащить голову. Но мной овладела какая-то лень и апатия.

И вот третий день. Я сидел в своей комнате, у круглого обеденного стола, дверь почему-то была открыта в коридор. На столе лежала буханка черного

хлеба, ободранная колбаса и солонка с солью. Соль была немного просыпана. "К ссоре", – лениво думал я, укатывая хлебные крошки. Почему-то взгляд мой все время падал на занавеску – занавеску не у окна, а около моего нелепого старого шкафа с беспорядочно повешенными в нем рубашками, пальто и костюмами... Эта занавеска все время немного колыхалась... Все произошло быстро, почти молниеносно и так, как будто бы воплотился дух. Таня просто вывалилась из шкафа. Мгновенно поднявшись, она прыгнула мне на колени и с кошачьей ловкостью обвила меня руками. Плоть ее была очень тяжела. Гораздо тяжелее, чем при жизни. Я чувствовал на своем лице ее странное и какое-то отдаленно-ледяное, но вместе с тем очень живое, даже потаенно-живое дыхание. Глаз, глаз только я не видел. Куда они делись?

– Папочка, папочка милый, – заговорила она быстро-быстро, обдавая меня своим дыханием. – Обязательно утопи мою голову... Ты слышишь? Утопи мою голову...

Больше я уже ничего не слышал: глубокий обморок спас меня. Сон, только глубокий сон, наше спасение. Сон без сновидений. И еще лучше – вечный сон, навсегда. Вот где безопасность!

...Очнулся я, когда Тани уже не было в комнате. Окончательно меня добило это дыхание на моих губах: смесь жизни и смерти. Но я начал сомневаться: действительно ли она вышла из шкафа? А может быть, из-за этой вечно колеблющейся занавески? А может быть, просто вошла в открытую дверь? Однако сначала мне было не до этих вопросов. Болел затылок от удара головой об пол. Стул, на котором я сидел, сломался. А солонка так и оставалась на столе, рядом с рассыпанной солью... В конце концов этот стул я

еле достал у знакомых – это был антикварный, редкий стул! Я купил его себе в подарок, когда ушел от жены. Может быть, Таня, если бы не отрезала себе голову, стала бы моей родимой и вечной женой: в будущем, когда бы подросла. Обвенчались бы в церкви. Как это поется: ”Зачем нам расставаться, зачем в разлуке жить?! Не лучше ль повенчаться и друг друга любить”. И поехали бы в свадебное путешествие по Волге вместе с этим старинным стулом; он так велик, что на нем можно уместиться вдвоем.

Интересно, могла бы быть Таня хорошей женой для меня? Правда, при всей простоте этой девочки, было у нее внутри что-то страшное, огромное, русское... Да, но почему она назвала меня своим папочкой!? Какой я ей отец, в чем?!

Медлить и тянуть kota за хвост больше нельзя. Пора ехать на кладбище.

Почему в наших пивных всегда так много народу, впрочем, может быть, так оно и лучше. Как-то теплей. Но мне не до поцелуев с незнакомыми людьми, не до объяснений, скажем, вот с тем седым пропойцем у окна, Андреем, которого я вижу в первый раз: ”Андрюша, ты пойми, что я без тебя жить не могу; я уже двадцать лет о тебе думаю”. Сейчас я холоден и реалистичен, несмотря на безумную и отравляющую мое сознание острым и тяжким хмелем кружку пива. Я обдумываю, где мне достать деньги. Придется кое-что продать, кое-чем спекулировать. Меньше чем триста рублей за такое дело могильщик не возьмется. А это большие деньги. Это ровно тысяча двести таких вот безумных кружек пива, от которых можно сойти с ума. Могильщик, который должен будет разрыть Танину могилу и вскрыть гроб, не пропьет сразу все эти триста рублей. Хотя я знаю, все могильщики

большие пропойцы, и свое черное дело они совершают всегда пьяные, с мутным взором. Но мне одному все равно не вырыть гроб: я слаб, нервен, на кладбище есть сторож даже ночью; надо знать время, когда он обычно спит или что-нибудь в этом роде.

Потребовалась еще мучительная неделя, чтобы я напал на след Таниного могильщика и понял, что дальше искать не надо: он согласится сам на такое дело. Это был грязный, полуспившийся мужчина по имени Семен, с тяжелым, но где-то детским взглядом. Почему-то он привел с собой еще своего кореша – этот не работал на кладбище, но могильщик ему во всем доверял. Звали кореша Степан. Он был маленький, толстенький и до дурасти веселый, почти совсем шальной от радости. Возможно, это было потому, что он часто помогал могильщику. Наверное, великое счастье участвовать не главным в таких делах, но все-таки участвовать.

Мы присели на бревнышках, у травки, у зеленого пивного ларька, недалеко от кладбища. Толстая продавщица все время распевала старинные песни, продавая пиво. Семен с ходу резко спросил меня:

– Для чего тебе голова?

Легенда у меня уж была готова.

– Видишь ли, – сказал я печальным голосом, – это моя племянница. Я хотел бы иметь ее голову на память.

– Ты так ее любил? – спросил по дурасти веселый Степан.

– Очень любил, а сейчас еще больше...

– Сейчас еще больше... Тогда понятно, – прервал Семен.

– А где ты будешь хранить голову? – опять вмешался Степан.

– Я засушу ее, вообще подправлю, чтобы она не гнила, – ответил я, прихлебывая пивко. – А где хранить... Я даже не думал об этом... Может быть, у бывшей жены.

– Только не храни ее в уборной, – предупредил Степан. – Туда всегда заходят гости, друзья. Нехорошо...

– Это не важно, – оборвал Семен. – Пусть хранит где хочет. Это не наше дело. А что он скажет другим – тоже не наше дело. Мы все равно завербовались на Колыму и скоро уезжаем. Там нас не найдешь.

– Но вы, ребята, уверены, что все будет шито-крыто? – спросил я.

– Мы свое дело знаем. Ты у нас не первый такой.

Тут уж пришел черед удивляться мне.

– То есть как не первый?!

– Эх, тюря, – усмехнулся Семен. – Бывает порой. Ведь среди нас есть такие, как ты, плаксивые. Студентка одна была здесь полгода назад: забыла взять волосик с мертвого мужа. Коровой ревела. Пришлось отрыть. Случается, некоторые пуговицы просят, но большинство волосики. Все было на моем веку. Одна дамочка просила просто заглянуть в гроб, хотя лет десять уже прошло с похорон мужа, из любопытства, разные есть люди. Правда, насчет головы ты у нас первый такой нашелся, широкая натура, видно, сильно ее любишь. Но учти, за волосик, или так, за любопытство, мы берем сто, ну сто пятьдесят рублей, смотря по рылу. А за голову двести пятьдесят выкладывай – без разговоров.

– Само собой... Мне присутствовать? – спросил я.

– Зачем? – удивился Семен. – Если волосик, тогда конечно, потому что надуть можно, хотя мы люди честные. Но головку-то спутать нельзя, тем

более, всего неделя какая-то прошла с похорон. Мы вдвоем со Степаном управимся. Ну вот наконец-то пол-литра вылезло из кармана! Разливай, Степан, на троих, у тебя глаз аккуратный... Да, значит, договоримся о встрече. Товар на обмен, рука в руку, мы тебе голову, ты нам деньги, на пропой души ее...

Все помолчали. Хрястнули стаканы с водкой, за дело.

– Девка-то, видно, хорошая была, – загрустил Семен. – Я ведь ее хоронил. Тихая такая была. Ничего у нее не болит теперь, как у нас. Эх, жизнь, жизнь! А я свой труп уже пропил, в медицинский институт...

Встречу назначили через день, утром, у кладбища, в подъезде дома номер три – темном, безлюдном и грязном. Все часы мои перед этим были светлые-пресветлые, и только голос Тани во сне звучал тихо-тихо, даже с какой-то лаской. С нездешней такой прощальной лаской. Они ведь тоже люди, мертвецы-то. Они все понимают, все чувствуют, еще лучше нас, окаянных, хотя по-другому. Понимала она, значит, что мечты ее сбываются. Отрубят ей в могиле голову и принесут мне в мешке в подъезд. Она ведь так хотела этого, а слово мертвых – закон. И еще говорят, когда очень хочешь, то всегда сбывается. Недаром Танечка так просила, кричала почти. И еще хорошо, если бы у всех людей на земле появилось бы такое желание, как у Танечки. У всех людей, в Америке, Европе, Азии, везде, у живых и мертвых одинаково, какая сейчас разница между живыми и мертвыми – кругом одни трупы брбдящие. И не топили бы головы, а сложили бы их в одну гору, до Страшного суда. Все равно не так уж долго ждать. И все попутные, обыденные страхи решились бы: никаких атом-

ных войн, ни революций, ни эволюций... Впрочем, что о такой ерунде, как эти страхи, говорить. Думаю я, что тело, в котором Танечка мне явилась и на колени мои прыгнула, и ручками обняла, это и есть то тело, в котором и явится, когда Страшный суд придет. А может, я ошибаюсь. Надо у Прохорова спросить: он все знает, комсорг...

Вот и наступил тот час. Я стоял в подъезде дома номер три, в темноте. В кармане – билеты, туда за город, на реку... где же еще топить, не в Москве же реке, кругом милиция, да и вода грязная. За городом – лучше, там озера, чистая вода, холодная, глубокая, с такого дна голова Тани уже никогда не всплывет.

Семен и его помощник, как-то озираясь, дико шли ко мне; у Семена в руках болталась сумка. Я думал, что все будет более обыденно. И вдруг внезапный страх, как будто что-то оборвалось и упало в душе... могильщики, странно приплясывая, приближались. Семен почему-то сильно размахивал сумкой с головой, точно хотел голову подбросить – высоко-высоко, к синему небу.

Разговор был коротким, не по душам. Голова... деньги...

Вот и все.

– Взгляни на всякий случай, – проурчал Семен. – Мы не обманщики.

Я содрогнулся и заглянул в черную пасть непомерно огромной сумки. С дна ее на меня как будто бы блеснули глаза – да, это была Таня, тот же взор, что и при жизни. Я расплатился и поехал на вокзал. Взял такси. Они мне отдали голову вместе с сумкой – чтоб не перекладывать, меньше возни. Сумка была черная, потрепанная, и видимо, в ней раньше носили картошку – чувствовался запах. Милиционеров я почему-то

не боялся, то есть не боялся случайностей. Видно, боги меня вели. Каким-то образом я влез в переполненную электричку.

В поезде было очень тесно, душно, много людей стояло в проходе, плоть к плоти. Ступить было некуда. Я боялся, что мою сумку раздавят и получится не то. Таня ведь просила утопить. Неожиданно одна старушка – ну, прямо Божья девушка – уступила мне место. Почему, не знаю. Скорее всего, у меня было очень измученное лицо, и она пожалела, ведь, наверное, в церковь ходит.

Сколько времени мы ехали, не помню. Очень долго. А вот и река. Она блеснула нам в глаза – издали, такой холодной, вольной и прекрасной своей гладью. Я говорю мы, потому что уверен, что Таня тоже все видела, там, в сумке. Мертвецы умеют смотреть сквозь вещи. Правда, ни стопа, ни взхода не раздалось в ответ – одно прежнее бесконечное молчание. Да и о чем вздыхать?! Сама ведь обо всем просила. А для чего – может быть, ей одной дано знать. К тому же Прохоров сказал – что она необычная.

И все же мне захотелось спросить Таню. О чем-то страшном, одиноком, бездном... В уме все время вертелось: "Все ли потеряно... там, после смерти?!" ...Надо толкнуть, как следует толкнуть ее коленом, тогда там, в черной сумке, может быть, прошуршит еле слышный ответ... но только бы не умереть от этого ответа... Если она скажет хоть одно слово ужаса, а не ласки, я не выдержу, я закричу, я выброшу ее прямо в вагон, на пиджаки этих потных людей! Или просто: мертво и тупо, на глазах у всех, выну голову и буду ее целовать, целовать, пока она не даст мне ободряющий ответ.

И вот я – на берегу. Никого нет. Мне остается только нагнуться, обхватить руками Танину голову и бросить ее вглубь. Но я почему-то медлю. Почему, почему? О, я знаю почему! Я боюсь, что никогда не услышу ее голоса – тихого, грозного, умоляющего, безумного, но уже близкого мне, моей душе. Неужели этот холодный далекий голос из бездны может быть близок человеку? Да, да, я, может быть, хочу даже, чтобы она приходила ко мне, как в тот раз, во плоти, пусть в страшной плоти – из шкафа, из-за занавески, с неба, из-под земли, но все равно приходила бы. И садилась бы на мои колени, и что-то шептала бы. Но я знаю, этого не будет, если я выброшу голову.

Но я не могу послушаться голоса из бездны. Ах, Таня, Таня, какая-то ты все-таки чудачка...

Но зачем, зачем ты так жестоко расправилась с собой?! Сунуть мягкую шейку в железную машину! А ведь можно было сидеть здесь, пить чай у самовара. Но глаза, твои глаза – они никогда не были нежными...

Ну, прощай, моя детка. С Богом!

Резким движением я вынимаю голову. На моих глазах пелена. Я ничего не вижу. Да и зачем, зачем видеть этот земной обреченный мир?! В нем нет бессмертия!

Я бросаю Танину голову в реку. Вздох, бульканье воды...

P.S. Позже я узнал, что человек, подходивший к Тане перед ее смертью и что-то шептавший ей, был Прохоров.

ПРИКОВАННОСТЬ

(рассказ тихого человека)

Почему все это произошло именно с мной, мне попытался объяснить один щуплый, облеваный чем-то несусветным старичок, отозвавший меня для этого за угол общественного туалета, во тьму.

Он прошептал, что мой ангел-хранитель сейчас не в себе и ушел странствовать в другие, нелепые миры. От этого-то я и не могу никуда двинуться.

А началось все с того, что мне рассказали одну сугубо телесную историю.

Жила на свете некая Минна Адольфовна, серьезная врачиха и весьма полная баба. Жила она одна, но без мужа не была, потому что денег получала уйму. Любила жить в чистоте, широко и от внешнего бытия брать одни сливки. Было ли у нее что-нибудь внутреннее? Кто знает. Но один ее любовник говорил, что она могла неслышно икать, вовнутрь себя, распространяя смысл этого икания до самого конца своего самобытия.

Так вот, недавно ее разбил паралич; причем почти намертво, так, что она лишилась дара речи, всех серьезных телодвижений, какой-то части сознания и лежала на кровати, безмолвная. Говорили, что она так может пролежать лет пятнадцать. Пенсию она стала получать большую, и, так как была совсем одинока, то назначили к ней от ее учреждения нянечек, которые тихо и покойно подбирали за ней дерьмо, меняли обмоченные простыни, кормили чем Бог пошлет.

Через месяца два ее в прошлом богатенькая комната стала почти пустой, так как нянечки и

медсестры все обобрали, а Минна Адольфовна могла только молча за этим наблюдать...

Я выслушал эту историю где-то в пригороде, на окраине, в грязном замордованном сквере, поздно вечером...

Отряхнувшись, я пошел к далекому, невзрачному столбу, и в небе передо мной встал образ Минны Адольфовны, обреченной одиноко лежать среди людей пятнадцать лет. "Ку-ка-реку!" – громко закричал попавшийся мне под ноги петух.

И вдруг вся тоска и неопределенность жизни перешли в моем сознании в какое-то неподвижное и неприемлющее остальной ужас решение. Я уже твердо знал, что пойду к Минне Адольфовне и буду ходить к ней каждый день, из года в год, тупо проводя около нее почти всю свою жизнь.

Вскоре я уже нелепо стучался в ее дверь; соседка впустила меня, и я увидел почти голую комнату – сестры милосердия вывезли даже мебель, – в которой были, правда, одна кровать с Минной Адольфовной, тумбочка, гитара и ночной горшок. Минна Адольфовна могла делать только под себя, и ночной горшок стоял вечно пустой, как некое напоминание.

Я остался вдвоем с Минной Адольфовной, но стоял около двери, у стены. Она сонно и животно смотрела на меня остекленевшими глазами. Я не знал, что делать, и внезапно запер дверь. Подошел к ней поближе и вдруг похлопал ее по жирному, огромному животу. Она не испугалась, только челюсть ее чуть отвисла, видимо, от удовольствия.

– Ну что ж, Минна Адольфовна, начнем новую жизнь, – закричал я, бегая по комнате и потирая руки. – Начнем новую жизнь!

Но как нужно было ее начинать?!

Я сел в угол и начал с того, что просидел там три часа, неподвижно глядя на тело Минны Адольфовны.

А за окном между тем медленно опускалось солнце. Его лучи скользили иногда по животу Минны Адольфовны. А серая тьма наступала откуда-то сверху. Вдруг Минна Адольфовна с трудом чуть повернула голову и уставилась на меня тяжелым, парализованным взглядом.

Я почувствовал в ее глазах, помимо этой тяжести, еще и смутное беспокойство и попытку объяснить себе мое присутствие. Она знала, что у неё больше нечего красть, и боялась, по-видимому, что теперь ее будут есть. (Говорили, что одна юркая старушка, кормя ее, пол-ложки отправляла себе в рот.)

Наконец, в ее глазах не осталось ничего, кроме холодного любопытства. Потом и оно уснуло. Она уже смотрела на меня мутно, нечеловечески, и я отвечал ей таким же взглядом. В конце концов встал, зажег свет.

Она издала слабое "ик", больше животом.

И вдруг она подмигнула мне большим, расплывающимся глазом. Мне показалось, что она захлопнула меня в свое существование.

Вскоре я бросил работу, жену, карьеру, потом порвал все душевные связи...

И с тех пор уже десять лет каждый день я прихожу в эту комнату, расставаясь с ней только на ночь. Минна Адольфовна подмигивает теперь только безобразной черной мухе, ползающей у нее по потолку.

Но я не обижаюсь на нее за это. Мы по-прежнему смотрим друг в друга. Я навсегда прикован к ее существованию. Иногда она кажется мне огромным черным ящиком, втягивающим меня в свою неподвижность.

Откуда эта странная прикованность?

Я понял только, что она спасает меня от этого мира: я потерял к нему всякий интерес, раз и навсегда, как будто черный ящик может заменить самодвижение. Но она спасает меня и от потустороннего мира, потому что и в нем есть движение. Я ушел от всех миров в эту прикованность, точно душа моя прицепилась к этому застывшему жирному телу.

Почему же иногда Минна Адольфовна плачет, в полутьме, невидимо, внутрь себя, словно в огромный черный ящик на миг вселяются маленькие, светлые ангелы и мечутся там из стороны в сторону?

Неподвижность, одна неподвижность преследует нас.

Иногда, в моменты тоски, мне кажется, что Минна Адольфовна – это просто тень, тень от трупа моей возлюбленной.

Но постепенно у меня становится все меньше и меньше мыслей. Они исчезают. Одна неподвижность сковывает мое сознание, и все существование концентрируется в одну точку.

И, возможно, меня точно так же разобьет паралич и полностью обезмолвит, на десятилетия, на всю жизнь. И я уже знаю, что какой-то влажный от ужаса, взъерошенный молодой человек с сонными глазами наблюдает за мной.

Он ждет, когда меня разобьет паралич, чтобы точно также присутствовать в моей комнате, как я присутствую в комнате Минны Адольфовны.

ПАЛЬБА

Что делал Федор Кузьмич всю свою жизнь?

Ответ: гонялся за крысами. Он и сам не знал, почему был к этому предназначен. Детства своего он не помнил, предыдущего воплощения тоже.

Он даже не считал, что ходит на работу, спит и обедает в темной столовой. Хотя на самом деле он выполнял все это, благодаря чему, по-видимому, и существовал.

Был ли он практичен?

Едва ли. Но для "главного", то есть для ловли крыс, он проявлял необходимую четкость и здравость ума. Достаточно сказать, что он обменял свою солнечную отдельную квартиру на грязную, в провалах, комнату, где, по слухам, водились крысы. Комнатенка была где-то в углу старого дома, с особым входом, и пугающе изолированная от других комнат бесконечными лестницами, закутками, стенками и какой-то вечной темнотой.

Федор Кузьмич был тогда еще молодой человек лет двадцати, с взъерошенной челюстью и почти невидимыми глазками. От своих родителей – почтенных граждан – он наотрез отказался.

Одна уверенная, но погруженная в себя девушка сделала ему предложение. Федор почему-то отослал ее к трубе, торчащей далеко в поле, на месте само собой разваливающегося завода. Больше ему никто не делал предложений. И жизнь его потекла удивительно однообразно, хотя и очень замкнуто. Заработок свой он не пропивал, но, питаясь чуть ли не помоями, откладывал его в копилку, которую клал в

собачью конуру... Единственной серьезной покупкой Федора было охотничье ружье.

”Главное” происходило таким образом. Федор просыпался ночью на своей полукровати от какой-то внутренней молитвы. Зажигал лампадку, хотя икон нигде не виделось. Весь пол был уже как живой: усеян не то крысами, не то мышами, для которых Федор разбрасывал на ночь еду.

Тогда Федор в нижнем белье, мысленно прижавшись к трепетному пламени, вовсю палил из ружья по крысам. Гром сотрясал комнату. Поэтому обычно стекла в ней были выбиты.

Так прошло десять лет.

Федор стал замечать, что несмотря на дикое обилие крыс в этой местности, их уже меньше собиралось у него по ночам. Хотя за все десять лет он не убил ни одной крысы. Но, возможно, такая безудержная пальба травмировала их.

Тогда Федор решился ловить крыс голыми руками. Ему никогда не приходило в голову, что укусят, и его действительно не кусали – настолько внебиологичны были его отношения с крысами.

Проснувшись среди ночи – теперь уже не от внутренней молитвы, а от красивого, образного, почти детского сна – Федор торопливо зажигал неизменную, но ставшую холодней и мертвенней, лампадку. Странное отсутствие икон возле нее – эта пустота голой стены – указывало на преобразование ее сущности.

Полуголый, сделав несколько безумных, почти клинических прыжков вверх и вбок, Федор кидался в самую гущу этих тварей. Теперь они совсем не боялись его, безоружного, ускользя из-под самых

Фединых рук. А он на четвереньках прыгал за ними из стороны в сторону.

Может быть, крысы чувствовали, что все это неспроста и здесь вовсе не охота за ними? Но что же это тогда было? Впрочем, за первые пять лет ему удалось поймать за хвост четырех крыс. Но что он с ними сделал потом, Федор не помнил.

Надо сказать – никто из людей не знал, что Федор гоняется за крысами. Его давнюю стрельбу из ружья принимали за оборонную тренировку. А последние годы он вообще приумолк, обходясь своими квази-прыжками.

Так прошло еще десять лет.

Внутри этой его замкнутой структуры, дающей ему способ устойчивого существования, произошли светлые изменения на одном и том же месте. Теперь Федор уже гонялся не только за крысами, но и за крысиными призраками. Попросту говоря, он стал преследовать "их" днем, прыгая за ними в разные стороны, хотя "на самом деле" крысы в это время отсутствовали. Это преследование ирреальных крыс как-то сразу облегчило ему жизнь. Она сделалась просветленней, поэтичней, так как исчезла эта тяжелая, угрюмая, ежедневная необходимость просыпаться среди ночи. Последнее было единственным, почему Федор принимал свое занятие также за тяжкую, серьезную работу.

Теперь Федор стал легок, более поворотлив и мог часами, куда не выходя, прыгать в своей комнатенке за крысиными призраками!

Воздушность, воздушность овладела им!

Так прошло еще десять лет!

Мир в представлении Федора был структурален, замкнут и вполне адекватен его сознанию. Лучшего

нельзя было и желать. Федор был счастлив, особенно если счастьем можно назвать отсутствие горя. И никто не знал, в чем причина его устойчивости.

Однажды он шел по перелеску, возвращаясь – по видимости – из проселка в соседний городок.

Внезапно из-за деревьев вышла огромная фигура. Формально это был человек, только весь обросший. Когда он подошел поближе, Федор увидел его лицо. Оно было рыжеватое, щетинистое; глазки – как стальные и точно навек пригвожденные к лицу.

И Федора обдало мертвым, разрушающим его душу холодом. Впервые за всю жизнь смертельный страх объял его. Потому что самое страшное, что увидел Федор в неживом, сонном лице нового существа, было: этот человек вне его, Федора, представления о мире, вне всего, что он может создать.

Возможно, это был нечеловек – Федор никогда раньше не видел таких лиц; или, во всяком случае, человек из другого мира.

– Не будешь больше гоняться за крысами, – вдруг оскалясь, сказал он в лицо Федору и с силой ударил его ножом в грудь...

”Откуда он знает?!” – последнее, что успел подумать Федор. И это убило его больше, чем удар ножа.

УПЫРЬ-ПСИХОПАТ

Этот упырь был в двух отношениях необычен. Во-первых, у него – неведомо какими путями – сохранилось ясное и тревожное сознание, хотя сам он, как фигура, застрял, подобно все упырям, между тем и этим светом. Но в отличие от других, правда,

занырлял еще куда-то в сторону. И так, наш упырь в целом не обладал особой сумеречностью, хотя, как видно, положение его не отличалось определенностью. Во-вторых, это был до ненормальности трусливый упырь. Поэтому он страшно боялся пить кровь у живых людей, даже у деток. Обдумывая себя, он устроился на донорский пункт, где мог – после некоторых комбинаций – в покое и досыта упиваться донорской кровью из пробирок. Служил он там медицинским братом и считался тихим и вдумчивым товарищем. Никого не пугал даже его портфель, не по ситуации огромный.

Вот его записи.

21-ое мая. ...Сегодня во сне видел Канта.

22-ое мая. Михайлова обхожу стороной. Боюсь, он подозревает, кто я. На душе тревожно, но держусь добрячком. На работе выпил три пробирки кровушки группы А. Неужели вскроется?

23-ье мая. Не обольщайтесь, тупоумные людишки, вы, жирные дамы, и вы, зверо-воинственные мужчины: я еще более или менее формальная сторона вампиризма, а истинный вампирчик – так или иначе – сидит в вас!!!

24-ое мая. Нудный и скучный день. С утра простоял в очереди за молоком. Но пить не смог – вырвало. Чтобы всё время материализовываться, нужна энергия, и, черт побери, на высшее остается совсем мало духу. Плохи наши дела! Говорю это к тому, что во сне опять видел Канта. Потом, к вечеру, зашел в библиотеку – почитать. Мое впечатление – Кант, по существу, писал только о нас, об упырях. Ведь опять все те же проблемы: свобода воли, мораль, практическая ответственность перед Богом. И насчет теории он молодец: действительно, ну как из разума можно

вывести существование Бога?? Какого, например, Бога можно вывести из нашего вурдалакского ума? Ничего, кроме тьмы, не выведешь. Но вот насчет внутренней свободы – это есть; я даже в самый момент экстаза, раньше, когда еще был смел и пил кровь из младенцев, все равно чувствовал в своей душе нечто свободное, божественное и даже игривое! Это ли не гарантия бессмертия души! Недаром все мыслители так отличают внешнее от внутреннего.

25-ое мая. Не люблю бульдогов и вообще собак. Пожирание без присутствия разума ничтожно... Сделали выговор (не мне, а начальству, хи-хи-хи!) за утечку крови. Боюсь, что наш донорский пункт разгонят. Все считают, что начальник спекулирует кровью.

31-ое мая. Страшная тоска... Жажда иного берега, как говорят. И когда, когда все это кончится?!! Пьешь, пьешь кровь, воруешь, оглядываешься, читаешь Канта – и все-таки хочется в иной мир, в иной, а не загробный, будь он трижды проклят, надоел совсем, хуже этого мира.

Не знаю, чем это кончится. Самоубийство бессмысленно, и даже оккультное тоже, потому что вряд ли достижимо, да и жалко себя по большому счету. Хочется уединиться, и чтоб в тепло, и чтоб Высшие Иерархии в душу смотрели, и чтоб кровушку пить, но так, чтоб никому не причинять этим зла.

Не иначе как душа в рай просится.

Федоренко (воплотившийся упырь, работает в бане, за городом) говорит, что все это у меня оттого, что я давно не пил живой крови, из человек, потому и затосковал. Говорит, кровь из пробирки пить – одно расстройство; вроде одно и то же – а чего-то, весьма существенного, не хватает!! Ну-ну!!

1-ое июня. Опять думал о Канте! Как здорово он определил, что весь наш мир – явление, кажимость в конечном счете! Сам на себе я это очень хорошо чувствую! Ну, бывало раньше, выпьешь кровь из одного дитяти, из другого, они помрут (потом, может быть, опять воплотятся, может быть, и нет) – и все это так несерьезно, так несерьезно! Серьезности нигде не вижу, вот что!! Ну, может ли в сути своей такое существо, как я, наделенное метафизическим чутьем, бессмертной душой и т.д. стать упырем?? Ан, оказывается, может, да еще как!! И это несмотря на бессмертную душу?!! Но в таком случае разве не видимость – и то, что я сосал кровь из младенцев, да и сама кровь... Все фук, все ничто, все бред абсолютного!! Да и эти бедненькие дитяти?! Вы думаете, я их не жалел?!! Еще как! особенно одну девочку, милую такую, одухотворенную, с глазами, как у христианских ангелочков?? Но не мог не пить: против естественных законов я – нуль, козявка, даже со своей бессмертной душой!! Да и ведь девочка эта – тоже видимость, отражение, ведь не может же что-то реальное погибнуть от такого глупого, идиотически-бессмысленного существа, как упырь. Только призрак может погибнуть от призрака.

Но кончаю, кончало, на сегодня хватит.

Пойду сосать пробирки.

6-ое июня. Федоренко определенно прав, когда говорит, что частично моя тоска – от недостатка живого объекта... Но не могу – труслив, труслив-стал до невозможности. Прямо сил нет. Может быть, это от разума, от интеллигентности!!!

Я и раньше норовил только детишек сосать. Чище они и беспомощней. И умирать им радостней.

Но теперь я не могу детишек сосать. Боюсь! Одного

даже крика ихнего и писка боюсь. Нервозен стал до невозможности. Дитя ножками болтает, глаза пучит, слюну пускает – а я дрожу, вождедею, извиваюсь, но боюсь! А чего боюсь, сам не пойму!! Очень уж стал чувствителен к своей особе.

Но больше так жить не могу. Нужны объекты!! Во рту пересохло; все тело мое (не совсем земное, в конце концов!) трясется; глаза жаждут небесного!! Что делать??!

7-ое августа. Два месяца я не брался за перо. И какие два месяца, какие!!! ...Разве можно передать словами то, что я пережил?!! ...Я влюбился, влюбился, в очаровательную, нежную, земную девушку с чистой и возвышенной душой!! ...И как влюбился – платонически!!! (Впрочем, другая влюбленность для меня была бы странна!) ...Я люблю ее!! Помогите!! Помогите!! ...Люди!!! ...Люди!!! ...Где вы!!!

...Что, что мне делать?? Я люблю каждое ее дыхание, каждый стон, каждую мысль, каждую искру в туманных и глубоких глазах!! ...Мы встречаемся у памятника Гоголю... Она принимает меня за своего... Возможно, любит меня!! ...Помогите. ...Я люблю ее душу, ее душу еще, может быть, больше, чем ее плоть – и потому желаю ей бессмертия, реального бессмертия, и спасения, а не пустых мечтаний об этом... Но как достичь всего этого среди мрака и бреда потустороннего мира?? ...Не рассказывать же ей о Штернере!! ...Чем я могу ей помочь?! Я, упырь, могу ли я спасти ее, вывести на светлый путь вечности, одарить ее сверхдуховным сознанием??!!! ...О, будь проклято все! ...Пусть все погибнут, лишь бы она спаслась!!!

8-ое августа. Очень боюсь я, что она меня признает... Она очень глубинна... Вдруг в моих синих,

прозрачных глазах блеснет то... и все будет кончено.

9-ое августа. О, как хочется мне – уже ночью, в виде призрака! – мелькнуть в ее окне, пройти в обитель и приникнуть – тихо-тихо – к изголовью! Чтобы она не слышала, не испугалась!!! ...И пусть извиваются мои черты, пусть синеют от пламени глаза, пусть трепещет трупное дыхание – я буду смотреть на нее с такой любовью, что этой любви будут завидовать ангелы... Бедная, бедная моя деточка, если бы она знала... Вся выпитая мною кровь превратилась в сплошное моление... Но я люблю ее, люблю! Как странно любить из другого мира.

10 августа. В конце концов это ужасно – платоническая любовь и вампир!! Своими огромными, охлажденными смертным ужасом глазами, с кровью, чернеющей на устах, я смотрю на нее – и вижу в ней иерархию чистых, всепроникающих, боговдохновенных духов! О, слезы катятся из моих глаз!! Как тяжки мне мои ненужные руки, и как прекрасно из пламени ада – из вечного пламени – глядеть на Бога и чистоту его духов! О, это небо, небо над адом!!!

12-ое августа. Мы продолжаем встречаться. Я дрожу при мысли, что она вдруг – от болезни, от случая – умрет и ее встретит потусторонний ужас. О, как я хотел бы защитить ее, спасти и превратить в божество – божество для себя, – вечное и вселюбящее... Но что могу я, бедный упырь, пустая жертва мировых законов?!!

13-ое августа. Сегодня первый раз поцеловал ее. О, как сладок человеческий поцелуй!! Ничего подобного нет среди нас, вампиров. Всю ночь проплакал один в своей комнате. (Кровь из пробирок пью мало, совсем ничтожно, только чтобы не сойти с ума и не провалиться в бездну.)

23-е августа. Прошло две недели. Я иду к своей гибели. Неожиданно я почувствовал вампирическое влечение к своей любимой. На святой алтарь брызжет поток крови. Как я еще не сошел с ума, не понимаю.

И именно платоничность и чистота наших отношений привела к такому концу. Точнее, к этому привела – любовь, любовь, святая и безграничная! Ведь любовь – это оправдание. Ведь в любви – нет страха, и в ней исчезает объект. Именно потому что я люблю ее, рухнули все преграды между ней и мною, и вместе с тем та странная преграда, которая заставляла меня в страхе останавливаться даже перед ликом ребенка, когда я жаждал крови.

А теперь этого нет. Любовь сняла страшное, последнее препятствие. Она сделала мою любимую самой наилучшей для кровососания.

Вот и кончится мое недомогание, мои страхи, мои пробирки, я выздоровлю, обрету покой – если буду потихонечку, потихонечку пить ее кровь. Так, чтобы она даже не замечала. Скажем, в поцелуе. Тихо и незаметно. Но со страстью, как всегда бывает при любви...

25-ое августа... Я гибну... Но только бы не погибла она... Я люблю ее... Нет, нет, я люблю не ее, а свое кровососание, свою животность, свой стон... Нет, Нет!!! ...Я люблю ее и зову Бога в свидетели этого!.. Но все кончается. Я не могу побороть в себе два влечения: любви и кровососания.

Боже, только бы она не почувствовала, что я – упырь... Почему она глядит на меня такими глазами?! ...Почему иногда из ее глаз льются слезы?! ...Слезы всепрощения... Может ли она меня простить, если узнает все... О, если бы она меня простила (хотя бы из-за мучений, мучений, моих мучений!) и любила

по-прежнему, я бы вознесся, я стал бы божеством, я обратил бы кровь в слезы блаженных младенцев... Во всепрощающие слезы... Но я гибну... Дважды меня охватывало бешеное желание броситься на нее, перегрызть ей горло и выпить всю кровь... Нет, нет, не сексуальное... Моя любовь свята... Просто эта жуткая потребность... Простите меня... Милосердия... Милосердия... Но я еще больше хочу спасти ее душу – и вознести в обитель богов... Она достойна быть только там... Да, да, но не среди богов, а такой, как они, всемогущие, всео духотворяющие... Да, да, я видел эту идею в ее глазах... Она мелькнула в них, как искаженный свет... Она – будет Божеством... И в то же время я хочу напиться ее крови... Крови Бога... Нет, нет я схожу с ума... Милосердия, милосердия!!!

Я знаю, знаю, где выход: завтра, завтра, когда она выйдет гулять, одна, в этих видимых только духам цветах вокруг своих глаз, я подкрадусь к ней... и... мы вознесемся... Оба... Туда, туда, в обитель богов... Она – спасет меня, я – ее... Да, да, вознесемся, хотя перед этим я обрушу на нее удар и выпью всю кровь. .

КОВЕР-САМОЛЕТ

Мамаша Раиса Михайловна – со светлыми, сурово-замороженными глазами и таким же взглядом – купила себе ковер. Ковер этот достался ей нелегко. Подпрыгивая, подняв на себе ковер высоко к небу, она поспешила домой.

Дома ковер был намертво привешен к стене.

Полуродственница Марья – толстая и головой жабообразная – посмотрев, вскинула руки и закричала: "Га-га-га!". Так она всегда говорила в хороших случаях. Шлепнув ее под зад, Раиса Михайловна ушла на кухню – жарить. Весело хрустело на сковородке что-то живое и юркое. Булькала вода в кране и в голове Марьи. У нее был выходной день и, развалившись на диване, она считала свои пальцы, казавшиеся ей тенью.

Пошарила вокруг себя этой тенью и, обнаружив спички, закурила.

Трехлетний карапуз Андрюша – сын Раисы Михайловны, весь беленький и с лицом, похожим на мед, – понимающе резвился на полу. Больше никого не было: отец Андрюши уехал в командировку.

Икнув, Марья, как истукан, из которого выливалось тесто, вышла на кухню.

– Я вернусь, – сказала она.

– Да, да, – хлопотала Раиса Михайловна около плиты.

Через полчаса хозяйка вошла в комнату, где резвился ее малыш. И остановилась, словно увидела страшное чудо.

Андрюшенька – счастливо поблескивая глазками – вовсю, упоенно резал ножницами новый ковер. Не так уж он много и преуспел – по малости силенок – но вещь была испорчена. Мамаша все столбенела и столбенела. Казалось, у нее не мог открыться даже рот. Мокрота появилась у нее в глазах. Наконец, с выражением бесповоротной решимости она подошла к малышу. Лицо ее стало зевсообразным.

– Ты что?! – вырвало ее словом.

– А чиво? – весело улыбнулся мальчик.

Его беленькие кудряшки развевались по лбу.

Мамаша вырвала у него ножницы.

– Вот тебе, вот тебе, вот тебе! – неистово, сжавшись лицом и грузно подпрыгивая на одном месте, завопила мать. Она яростно била малыша ножницами по ручкам. Он орал, как орала бы ожившая печка, но его крик только распалая мамашу. Ручки малыша покраснели, и, оцепенев от ужаса, он даже не разобрался убрать их: он только поджал их на груди, и они висели у него как тряпочки.

С каждым ударом они становились все безкостней и расплывчатей, словно лужицы.

– Ковер... ковер! – орала мамаша, и взгляд ее становился все тверже и тверже.

Она представляла, что ковра уже нет, и готова была сама стать ковром, лишь бы он был.

– Цени, цени вещь, дурень! – орала она на дитя.

Вернулась Марья. Тяжелым взглядом проглядев сцену, она решила, что ничего не существует, кроме нее самоё. Плюхнувшись на диван, она стала гладить свой живот.

– Куда, куда улетели... птицы?! – иногда бормотала она сквозь сон.

Между тем первый гнев Раисы Михайловны понемногу остывал. "Что отец-то скажет, ведь нет ковра, нет", – только качала она головой.

Андрюша, однако же, не переставал кричать, задыхаясь от боли. Он упал на пол и катался по ковру-дорожке.

– Перестань, перестань сию же минуту плакать, чтоб слез твоих я не видела! – кричала Раиса Михайловна на сына.

Она уже не колотила его ножницами, а только легонько подпихивала его ногой, как шар, когда он особенно взвизгивал от боли или воспоминания.

– Футболом его, футболом, – урчала во сне Марья, разбираясь в своем сновидении.

Раиса Михайловна принялась убираться: чистить полы и драить клозеты. Она делала это по четыре, по пять раз в день, даже если после первого раза пол блестел, как зеркало. Монотонно и чтоб продлить существование, побрякивая и напевая песенку, она продраивала каждый уголок пола, каждое пятно на толчке. В этом обычно проходили все ее дни, пока не являлся муж – квалифицированный тех. работник.

И сейчас, оставив в покое малыша, она принялась за свое бурное дело.

Две мысли занимали ее: можно ли еще спасти ковер и когда кончит орать Андрюша. Насчет первого она совсем запуталась, и с досады кружилось в голове. Но постепенно легкая жалость к Андрюше стала вытеснять все остальное: он по-прежнему надрывался. Но она все еще продолжала – чуть ли не лицом – драить толчок в клозете. Временами ей казалось, что она видит там – в воде – свое отражение.

Наконец, все бросив, она вошла в комнату. Марья похрапывала на диване. Во сне Марья умудрялась играть в кубики, которые лежали около ее тела. В забытьи она расставляла их на своем брюхе. Целый дворец возвышался таким образом у нее на животе. А в мыслях ей виделся ангел, которого она – в то же время – не видела.

– Дай-ка ручки, – проговорила Раиса Михайловна Андрюше.

Взглянула и ужаснулась.

Кисточки – пухлые и маленькие, как у всех трехлетних ребят – превратились в красную, растекающуюся жижу.

– Как же это я! – закричала она.

Страх за дитя мгновенно объял ее с ног до головы. ”Вообще-то ничего страшного, – подумала она, – но надо к врачу... к врачу... Мало ли чего может быть... Ох, несчастье”. Толчком она разбудила грезившую Марью.

– Га-га-га! – закричала та, сонно очнувшись и помотав головой с белыми волосами.

– Га-га-га! – перекричала ее Раиса Михайловна, близко наклонив к ней голову. – Вот не ”га-га-га”, а Андрюше больно, везем его к врачу.

Недовольная Марья одевалась. ”Ох, несчастье, несчастье”, – тревожно металась Раиса Михайловна. Андрюша стал ей чудовищно дорог, значительно дороже ковра. Наскоро собрались в путь. Заглянул сосед – Бесшумов, – растревоженный криками малыша, которые он принял за воздушную тревогу. Пожевав бумагу, он сонно скрылся, промычав про несоответствие.

По дороге к врачам Марья расплакалась.

– Ты чево? – спросила ее Раиса Михайловна.

– Жалко Андрюшу, – ответила та.

Она жалела также свои мысли, которые вились вокруг ее лба, как бабочки. Детская больница была сумрачна, и люди в белых халатах были в ней строгие, почти как ружья.

Раисе Михайловне велели приехать за дитем спустя, когда точно скажут по телефону. На другой день обнаружилось, что посещать больного ребенка нельзя: в больнице объявили карантин.

Одуревшая Раиса Михайловна целыми часами бродила по квартире. ”Хорошо еще, что муж не скоро вернется”, – думала она. Звонила в больницу, ей отвечали коротко: ”Все, что нужно, будет сделано”.

Одна Марья была веселая. Она говорила соседу Бесшумову, что ребенок все равно умрет, но де от этого Раиса Михайловна должна только веселиться. Когда Бесшумов, пожевав бумагу, спрашивал: "Почему веселиться", – Марья загадочно улыбалась и отвечала только, что будет больше свету. Она везде находила свет; но в то же время плакала от постоянного присутствия мрака. Правда, плакала по-особому, без плача в душе, так что слезы катились по ней, как по железу.

Откуда-то появилась черненькая старушка; посмотрев на все круглыми глазами, она сказала, что любит тьму...

Раиса Михайловна все болела за испорченный ковер, и не зная, что с ним делать, скрутила из него валик для дивана. "Все-таки нашел применение", – сказала она про себя.

...В больнице было светло и пусто. Андрюша все время плакал. "Сейчас тебе не будет больно", – сказал ему высокий и умный врач. И правда, малыша внимательно усыпили, прежде чем отнять две кисти руки (почти все косточки внутри были переломаны и измельчены ударами ножниц, и – чтоб не началась гангрена – это был единственный выход). Поэтому, уже после того, как отрезали его кисточки, Андрюше стало легко, легко; только когда его перебинтовывали, он помахал своими культиками и удивился: "А где мои ручки??" И даже не заплакал.

...Когда мамаша приняла из больницы своего малыша, сморщенного в улыбке и отсутствии, то сначала она ничего не соображала. Все пыталась развязать культики и проверить: есть ручки или нет? Привезла домой на такси, как все равно с праздника. Марья раздела дитя и, крикнув, потащила его

играть в прятки. И все улыбалась в окно чучельным, ставшим не по-здешнему лохматым лицом. Во время прятков уснула и опять видела ангела, которого в то же время не видела. Андрюша лизнул ее сонный, замогильный нос и помахал культияпками, как бы здороваясь. "А где мои ручки, мамочка", – тосковал он и, как тень, плелся за мамой, куда бы она ни пошла. Раиса Михайловна драила пол. Из кухни раздавался храп Марьи, считавшей, что у нее пухнет живот.

Тикали часы.

Скоро нужно было кормить мальчика – теперь он, как и раньше, однолеткой, не мог сам есть.

Раиса Михайловна двинула ногой табуретку и вошла в клозет. Грохнуло корыто. Раиса Михайловна повесилась. "Нету моих сил больше... Нету сил", – успела только сказать она самой себе, влезая на стул.

Со сна Марья заглянула в клозет. Охнув, все поняла, и ей захотелось попрыгать с Андрюшенькой. Понемногу собирались родственники и соседи. Андрюша не скучал, а все время спрашивал: "Где мои ручки и мама?". В клозет его не пускали. Какой-то физик решал на кухне, недалеко от трупы, свои задачки.

Марья шушукалась с Бесшумовым. И опять откуда-то появилась черненькая старушка с круглыми глазами. Она говорила, что ничего, ничего нету страшного ни в том, что у Андрюшеньки исчезли руки, ни в том, что его мать умерла...

– Ничего, ничего в этом нету страшного, – твердила она.

Но в ее глазах явственно отражался какой-то иной, высший страх, который, однако, не имел никакого отношения ни к этому миру, ни к происшедше-

му. Но для земного этот мрак, этот страх, возможно, был светом. И, выделяясь от бездонного ужаса в ее глазах, этот свет очищал окружающее.

– Да, да, ничего в этом страшного нету... – бормотали стены. Только плач Андрюши был оторван от всего существующего.

– Га-га-га! – кричала на всю квартиру Марья.

ОТРАЖЕНИЕ

Виктор Заядлов уже почти не был человеком, даже по его собственному мнению. Жил он уже несколько лет оседлым эмигрантом в Нью-Йорке, в маленькой трущобной квартире. Работу он бросил (да ее и не было), жену сдуло, и больше вокруг него ничего не стало. Кормился он на помойках и на социальное пособие, которого боялся. Неожиданно, после многих лет нищеты получил он небольшое, но терпимое наследство – однако это уже ничего не меняло, и он позабыл о нем.

”Не все ли равно как жить”, – подумал Заядлов в последний раз.

Да, не это было главное. Главное, было в том, что начала изменяться его тень. Он заметил это впервые, когда писал письмо далекой бабушке в Москву. Вместо тени от своих пальцев он увидел черные когти – сверхестественно черные, ибо тень никогда не бывает так черна.

”Началось, началось”, – в холодном поту подумал он – я знал, что этим кончится... Это конец”.

Но он дописал письмо, словно ведомый когтями.

Впрочем, письмо было довольно добродушным, оно началось так:

”Дорогая бабуся! Привет из Нью-Йорка, из всемирного центра будущего. Ты не умерла?! А я как будто бы умер, но в целом живой.

У меня все хорошо. Часто по ночам люблюсь небоскребами. А как тетя Маня, тетя Катя и тетя Вика?” (На самом деле никаких таких женщин вообще не существовало.)

После того, как Заядлов закончил писать, поставив последнее: ”Не забывай меня, бабушка”, он опять поглядел на тень и увидел, что она стала нормальная.

Заядлов страшно обрадовался этому.

”А не пойти ли мне погулять” – решил он от счастья.

И он прямо-таки побежал – вперед на Пятое Авеню, к рекламам, педерастам и бизнесменам. По дороге он поблевал около большого клуба, который называли почему-то храмом.

И пошел вперед – мимо огромных причудливых тридцатизэтажных банков, малюсеньких церквей и теней от небоскребов. Там и сям появлялись нищие и сумасшедшие. Секс Заядлов любил, но сумасшедших – никогда. Их было много в этом городе будущего – но их некуда было девать...

Заядлов подмигнул раза два прохожим, на большее он не решался, хотя помнил, что как-то раз ему ответили:

– How are you. (Хау а ю)?

Нет, он не был одинок. Заядлов вдруг юркнул в заведение, мокрое от пива и от раскрашенных как на Марсе проституток, и запил, наклонившись над единственной рюмкой виски. И тогда второй раз увидел свою тень: однако вместо обычной головы была голова льва.

”Да нет, это кутенка – успокоил сам себя Заядлов, наклонясь – Всего лишь кошка – и все”.

Но потом вдруг вскочил, дико озираясь на невинных проституток. Тень исчезла, ушла в потолок, в лампу, повиснув над головами дев. И Заядлов выбежал из светоносного этого заведения.

Свернул в малолюдство: какая-то женщина одиноко свистнула: была она как привидение, сошедшее с ума. Заядлов глянул вверх: там были небесного света небоскребы, и в каждом окне было, может быть, по бриллианту.

Он не любил плясать перед небоскребами.

Итак, появилась какая-то новая, почти доисторическая тень, как будто раньше он вообще жил без подлинной тени, оставаясь золотым счастливым человечком.

Спустя три недели тень эта даже стала драться – словно из тени высунулся коготь. И тогда он захотал:

– Боже мой, я все понял,– кричал он в стену. – Это не сумасшествие, а, напротив, обратный процесс! Я, наконец, становлюсь нормальным!

И он юрко, несмотря на драчливую тень, засеменял к своей новой жене.

Действительно, когда сдуло жену-эмигрантку, он приобрел вторую – из местных, старуху лет семидесяти, якобы почти без средств, но все-таки с небольшими деньгами, которые она не тратила с детства. Потому и накопилось. Собственно, формально женат он не был, только – друг дома и полулюбовник. Приходил он к ней раз в полгода, или, может быть, раз в три месяца – и это считалось большой неразлучной дружбой. Почти мечтой.

Вот перед ней-то Заядлов и любил плясать.

Старуха – Мэри – терпела и это, скаля не то звериные, не то стальные зубы, и все время спрашивала Заядлова:

– How are you. (Хау а ю.)

Тот отвечал грустным кивком.

Чужое небо Нью-Йорка с его ординарными звездами уже не мучило его...

Следовательно, после появления драчливой тени – он понесся к Мэри: на забытом даже адом метро.

Мэри встретила его своей прежней, жизнерадостно-мертвой улыбкой:

– How are you. (Хау а ю.)

Много, много раз слышал это приветствие Виктор от всех просвещенных людей Запада. И не всегда реагировал правильно на эти слова: ведь он был чужеземец.

На этот раз он просто поцеловал Мэри, и они стали смотреть телевизор. Иногда Мэри опять спрашивала: "How are you? – или о погоде: "Не правда ли, хорошая погода сегодня?"

Потом, после выступления регбистов и литераторов, она сообщила Виктору, что скоро умрет, так как у нее серьезный рак. Заядлов промолчал, не веря, но Мэри добавила, что для нее это большая проблема и что к ней ужа давно ходит (она тратит на это немалую сумму денег) приличный психоаналитик: он объясняет ей, что теперь делать и о чем думать. Виктор улыбался как во сне, по-прежнему не веря, и ушел, смущенный.

А через два дня его тень стала разговаривать.

У Виктора пот ушел внутрь лба. А потом он разучился удивляться. Впрочем, слова тени были пророческими: "Не смотри на свое отражение в зеркале... Не смотри... Ты понял это?"

Утешило его только то, что на самом деле говорила уже не его тень – ибо трудно было назвать то, что он видел рядом с собою, его тенью – лица, например, уже не существовало, но грудь выделялась и особенно борода, хотя на самом деле никакой бороды у него в земной жизни не было.

Но все-таки часто – на стене, в углу, где-то в полуклозете, среди смелых тараканов – мелькала и его бывшая тень – но опять-таки в ней то оказывался птичий нос, то коровье ухо, то горб демона, то еще что-нибудь почище.

Если появлялся горб, то Заядлов обычно быстро бормотал – но горб, тот, как правило, упорно молчал. А пророчество тени несуществующей бороды (относительно зеркала) Виктор запомнил на всю жизнь.

Собственно зеркал в его комнате никогда не было (там вообще почти ничего из предметов не существовало), но Виктор стал теперь шарaxаться от зеркал и на улице, и в кафе, и где-нибудь в рекламном бюро.

Но одновременно его стали манить к себе зеркала. И он, становясь на цыпочки, пытался заглянуть туда. Но в последний момент страх опрокидывал его назад, а ум свирепел: "Гляди, умрешь, если увидишь свое отражение". Так и жил он многие дни, вздрагивая от возможности увидеть...

В конце концов он снова решил сходить к жене.

Мэри встретила его доктором. Белый костюм сидел в комнате и оказался психоаналитиком.

Виктор ответил самому себе, что цивилизации непонятны друг другу.

Психоаналитик же твердил свое:

– Да, Мэри, согласно диагнозу, вы через недели три умрете. Но у вас еще много впереди: целые три недели. Живите активно. Гоните негативные мысли и

не думайте о смерти. Наслаждайтесь! Самое главное: наслаждайтесь! Секс (но в меру), гипноз, хорошая еда – все годится. Наслаждайтесь – чем можете!

Мэри улыбнулась:

– Я согласна. А как же на том свете, е́сли он есть?

– Если он есть, то думайте о нем только в терминах наслаждения.

– О'кей, – ответила Мэри.

– О'кей, – сказал фрейдист.

– А как же деньги? – спросила Мэри.

– Деньги́ будут и на том свете, – ответил психоаналитик. – В символах. Косвенно. Но реально. Ибо деньги – не только деньги. ...Это – наше сверх Я.

– Не понимаю о сверх Я, но о деньгах понимаю, – ответила Мэри. – Милый, – обратилась она, впервые за этот раз, к Виктору. – Через три недели я умру. Все, оказывается, подсчитано. У меня в банке останется немного денег. Доктор говорит, что это чудо, потому что даже у мертвой у меня будут деньги! Ты знаешь, я счастлива!

Виктор промолчал.

– Ну, хорошо, милый, – продолжила Мэри. – Приходи ко мне на лэнч через три недели или около. Покушаем. Не знаю точно, сколько у меня времени будет тогда. А сейчас уходи. Я буду наслаждаться...

Заядлов мгновенно исчез, поцеловав высокий лоб Мэри. Больше он свою жену не видел (хотя один знак к нему пришел). Тень сказала ему (правда, во сне), что его жену, Мэри, похоронили быстро, как-то даже чересчур моментально, за десять почти минут, новейшим передовым способом.

Но Заядлову было не до Мэри, превратившейся в труп. Его парализовал ужас перед своим отражением. Он порой чуть ли не нырял в зеркало, и тогда где-то на

краю зеркальной безбрежной поверхности появлялось предостерегающее черное пятно, словно он сам в него превращался и видел свою смерть. Виктор отпрыгивал, как потусторонняя кошка, от любых зеркал, пугая самого себя.

Иногда на улице, отпрыгнувши, он долго хохотал, один, скорчившись на тротуаре среди небоскребов и ног механически бегущих людей. Однажды, правда, одна собачка залаяла, увидев его. Он приласкал собачку от всего своего больного ума...

Но один раз он поймал все-таки взглядом свое отражение.

Это случилось, когда он пришел как-то к себе в комнату. В ней никогда не было зеркала, словно зеркало равносильно небу. Но на тот раз оно висело – прямо посередине. Кто принес его? Вероятно, уголовники, они часто заходили в его комнату, чтобы отдохнуть или просто унести от нечего делать последний стул...

И тогда Виктор увидел того, кем был он. Больше всего его поразили глаза – потусторонне-звериные и глядящие на него. Но убило его иное – черный за-ужас, исходящий от всей странно меняющейся фигуры...

Когда он очнулся – он был в зеркале, двухмерный и полоумный, а "оно", которое он видел в зеркале, гуляло по комнате.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!

Гарри Клук тронул себя: "Бе-бе, как будто бы от меня ничего не осталось. Впереди, в окне, виден Нью-Йорк, а от меня ничего не осталось!"

Он ткнул в свою ногу вилкой и удивился: вилка вошла как в потустороннее болото.

"У-у-, – промывчал он – теперь мне не надо бояться, что меня зарежут в метро: вместо тела у меня жижа".

– А что у меня вместо сердца? – он поднял ухо к потолку.

Сердце показалось ему мешочком, многоточием, бьющимся как часы в аду.

Денег у него почти не было: безработица, неудачи. А какая же жизнь без божества? Без божества жить невозможно. В этой цивилизации деньги были не только временем, но и вечностью. И теперь он остался без вечности.

Была у него и семья: но семьи не было с самого начала, все жили сами по себе. Правда, один сын обещал прислать телеграмму, когда будет умирать. Два других отказались и от этого.

Итак, он не выдержал конкуренции.

К тем, у кого были деньги, сыновья писали раз в год, и вовсе не перед смертью, а при жизни.

Божество исчерпалось, семьи – нет, а пить он не мог: блевал от одного глотка алкоголя. Впрочем, и раньше, когда он пил, то возбуждался только для того, чтобы считать себя преуспевающим.

Единственный, кто у него остался – друг.

Но он не знал, кто он, этот друг. В его бедной каморке было так темно (к тому же он экономил на

электричестве), что не виделся бы и самый преданный друг, если бы даже он стоял рядом.

Гарри целыми днями считал на бумажке – во что бы ему обошелся друг, если бы он жег свет, чтобы его видеть. Но решился бы он зажечь лишний раз свет для своего лучшего друга? Вряд ли. Даже если бы перед ним во тьме явился Богочеловек, он все равно бы не зажег: сэкономил. К этому его приучила жизнь.

Правда, он не всегда был такой. В молодости, например, жил широко, а потом пошли неприятности, денежные травмы... В сущности он никогда не был жадным: свет, отопление, действительно, дорого стоили, и кроме того, он чтит деньги сами по себе...

Но от идеи друга он упорно не отказывался – друг это существо, а существо ведь можно любить. Долларам же лучше поклоняться: они выше любви. Тем более, они дают тотальную власть...

И тела у него почти не осталось: от забот.

Клук задумался посреди темноты в своей комнате. Повернул голову вверх. Да, надо искать "его". Друг – это единственное, что у него осталось.

И он полез к нему, заранее любя. Само синее болотное тело Клука искало его. Гарри стал рыть: и для этого зажег свет – целый бунт против общества!..

Его давно преследовали шорохи, и он считал, что они от друга. Стуки и шорохи раздавались за стеной. Там, видимо, жил "он". И Клук стал рыть в том месте. Шорохи усилились. Он знал, что за стеной живет сосед, но вряд ли именно сосед – его друг.

Тем более, Клук никогда не видел его: вероятно, тот был почти невидим или просто стеснялся быть.

Но стуки усиливались и усиливались. В глубине своей души Клук – несмотря на то, что с ним происходило – был рационалист. И поэтому все стуки

невидимого соседа он принимал за шорох огромной крысы, ставшей, может быть, его последним другом. Попросту он не верил, что у такого бедного человека, как он, может быть друг в форме человека.

И он искал путь к своей крысе.

Сегодня он решился окончательно: бросив рыть, он взял инструмент и при свете стал долбить стену.

Шорох исчез.

Кто там был: сосед или крыса?

И кто из них был его друг?

Гарри, став на колени, пыхтел с инструментом, прибор работал, урча от электротока. Этот инструмент был последним богатством Клука, напоминающим о его прошлой принадлежности к среднему классу.

Сосед, видимо, сверхестественно спал, забытый даже крысами Клук не думал о соседе: нет, люди забыли о нем, о Гарри, и в этом смысле он, пожалуй, действительно одинок.

Но друг был, ибо были шорохи, стуки, и Клук искал путь к нему.

В конце концов, есть крыса, а значит, есть и друг. Он где-то близко, совсем рядом, он подавал ему знаки... К тому же, одна крыса – во сне – своей улыбкой сказала ему, что он будет таким же, как она, на том свете, а Гарри верил в него, потому что был религиозен.

Наконец часть стенки рухнула. Перед ним, действительно, лежал друг. Увы, это была не крыса, а его собственный труп. Его ли? Конечно, да; открытые глаза, однако, были совсем детскими по выражению – такие же, какие были у него, ребенка, когда он глядел на себя в зеркало. Но вместе с тем это был взрослый труп.

И тогда Гарри завыл; потом встал на колени перед собственным трупом и сказал ему:

— How are you. (Хау а ю)?

Потом поцеловал его в глаза.

Сразу же он полюбил свой труп, и тот стал для него ценнее, чем доллары. Он не совсем даже осознал сам факт чудовищного переворота, незнакомого большинству: есть что-то более ценное, чем деньги!

Затем Клук выбежал в город, в его душные, пропитанные смрадом и духом золота улицы. И бежал, бежал. Даже уголовники, из черных, не убили его. И он внезапно почувствовал радость оттого, что его не убивают. Почему радость? А про себя он пролепетал, ответив: "Ведь у меня есть друг! Я нашел его!".

Но потом, другой уголовник, из белых, стоявших за углом, мазнул ему по горлу синей бритвой... Секунды через две-три Гарри опять превратился в труп — в желанный труп, в своего второго друга, в мечту, в романтика!

Кругом теперь во всей вселенной Гарри Клука окружали друзья: один лежал в стене, другой распластался как последняя тварь на мокрой нью-йоркской мостовой, третий, может быть, уже назревал...

И уходящая в подвал ада душа Гарри тупо хихикнула: в клоаке рта своего убийцы он увидел исполинское солнце любви...

ПИСЬМА К КАТЕ

Это была не очень странная девушка, с голубыми, точно нежно-выветренными глазами и с гибкой, вполне человеческой, ласковой фигурой. Ручки,

личико и, очевидно, все тело было до того нежно и в меру пухло, так бело, как будто девушка создалась из высшего молока и появилась как свет. Впрочем, выражение лица было так неопределенно, словно что-то за этим скрывалось, а может быть, и ничего. Девушка смотрела как сквозь ангельский сон, хотя и не без некоторой странной, но скованной хищности. Особенно, когда глотала.

Спала тоже по-божески: растягивая и изнеживая тело, любуясь собой даже во сне, но иногда только с хриплым лаем просыпаясь. Тяжело ей, видно, где-то было.

У себя в комнате, под пуфиком она обычно хранила целую гору писем: письма были от влюбленных в нее: все они – рано или поздно – покончили из-за нее жизнь самоубийством. Иных писем не было.

Иногда, когда девушка чувствовала, что ей будет особенно сладко спать, она клала свои пачки с письмами себе под подушечку, прямо-таки под щечку, и от этого, может быть, ей еще слаще спалось.

Вот некоторые из писем.

* * *

Катя! В отношении меня ты должна твердо знать, что я – черт. Я тогда нарочно скрывал от тебя это, не хотелось говорить. Особенно последний раз, когда встречались у памятника Пирогову. Ты так заглянула мне в глаза, что я ошалел. Чтой-то у тебя глаза такие нехорошие, или это мне только кажется по недоверию к вашему человеческому?!

Устал я жить, Катюша. Что-то совсем не то, что я ожидал тут у вас увидеть. Как говорят ваши поэты, действительность всегда ниже мечты! А как я мечтал, мечтал, холодея духом, о воплощении, о вашем мире!! Какие планы связывал с этой жизнью! Но меня опередили... А потом этот ужас... Ну да ладно. Одна

ты у меня отрада. Только не грусти, как бывало. Не пой свои нежные песни. Сил нет больше жить. Боюсь, что-нибудь сделаю с собой или с тобою.

Катя, не думаю, что ты могла бы меня полюбить, какой я есть. И дело не только в виде. Ты говорила, что тебя мучают мои глаза, что сам я как ряженный, особенно когда пью кофий.

Это ты про душу мою говорила. Но не буду, не буду говорить, какой я есть. И никогда, никогда об этом не спрашивай. Всего сказать не могу, но любовь наша, если б свершилась, была бы так страшна, что не решаюсь, не решаюсь. Любимая моя, я скоро перейду на визг!! Была бы ты ведьма, что-ли!! Отчего ты мне в душу, человечка, так запала?! Что у нас общего?!!

Все, ухожу. Решил, как у вас говорят, дезертировать. Если до завтра не будет знаков, ты меня здесь не увидишь.

Катя, чтобы с тобою не случилось, как тяжело бы тебе не было, никогда не взывай к нашему имени. Не вспоминай обо мне. Это мой тебе лучший совет. И не спрашивай обо мне у духов.

Всего сказать никак невозможно.

Твой-мой Анисимов.

До встречи.

* * *

Катя, я уже стал мертвым, потому что все мертво по сравнению с тобой. Зачем, зачем я только родился?! Мне бы бегать по лесу, ловить бабочек; пить воду из ручейка, а я мертв. Ты за меня будешь ловить бабочек, пить воду из ручейка, потому что моя жизнь перешла к тебе.

Помнишь, я увидел твое личико, там, в вышине, у

звезд, и после этого у меня был тяжелый сердечный приступ? Тогда я понял, что мир – мертв, одна ты – живая. И дико мне стало смотреть на тебя – когда ты идешь по улице, как будто вся жизнь мира перешла в тебя, и ты идешь, имея жизнь в самой себе, и каждый твой вздох – дыхание вечности.

А я мертв.

Прощай. Константин.

* * *

Катюша! Когда я тебя поцеловал, я так обрадовался, так обрадовался, что весь день потом не мог прийти в себя. Какое счастье!!

К жене совсем не могу прикоснуться – до того противна, что готов свинью поцеловать, лишь бы не ее.

Ух, ты, мой попрыгунчик, шалунья моя ветреная, глупышка ненаглядная!

Скорей бы в отпуск. Зам обещал дать в третьей декаде. Накуплю я тогда снеди всякой, консервов, муки, колбаски, селедки в винном соусе, грибков, сядем мы с тобой, мамочка, в мой "Москвич" и махнем, как ты обещала мне, на юг. Ой, не терпится, ой, не терпится! Готов целовать зама.

Любящий тебя до печенок, целующий каждый твой пальчик, берегущий каждый твой волосик

Петенька Васильев.

P.S. Говорил вчера с Карповым – он обещал, что тебя примут в институт, на первый курс.

Еще раз целую мою шалунью.

Здравствуй, Катя! ...Где мы с тобою встретимся?!
...Я хотел бы встретиться с тобой в ином мире. Потому что, говорят, мы будем там абсолютно, безнадежно одиноки, попросту говоря, один на один со своею душою. Но почему глаза твои так черны и глубоки... (Дальше неразборчиво) ...Уйти, уйти в эту глубину навсегда... (опять неразборчиво) ...Почему я так несчастен... (опять неразборчиво, но в конце три восклицательных знака) ...уединенно от твоих сокровищ: союза красоты и духа (совсем неразборчиво!) ...смерть ... (совсем неразборчиво) ... смерть ... (опять неразборчиво) ... смерть ... (опять неразборчиво)...

Твой Андрей.

* * *

Катюня, привет!

Пишет тебе твой друг с дальнего Амура, который со всею своею душою рвется к тебе. С прошлой жизнью покончено. Неделю назад был у Белого Кота и порвал со всею малиною. Это ты, матросочка моя ненаглядная, человека из меня сделала. Только ради тебя веду жизнь фраера.

Через пять дней – расчет, билеты уже взял и айда к тебе. Иного пути у меня нет.

Твой Саша.

* * *

Катюша! Помнишь, как стояли с тобой на берегу реки под ветерком? Шел снег, и я разделся до самого

пояса. А ты еще, смеясь, запустила в меня снежком. Помню снежок попал мне в самую грудь под левую сиську. Неужели ты больше не подаришь мне ни одного такого дня? Катя, Катя!!! Неужели все прошло, и мы с тобою никогда не увидимся?! Ты еще что-то говорила про судьбу. Какая же у меня теперь будет судьба без тебя?! Я учусь на шоферских курсах и скоро окончу вечернюю школу. За окном часто поет гармоника. Но мне скушно без тебя. На стене висит портрет товарища Чайковского. Но мне не до него. Я хочу видеть тебя, Катенька. Катя, Катя, я пишу тебе восьмое письмо до востребования, а ты мне не отвечаешь. Горе мое, горе. Твердо решил получить от тебя весточку.

Если не будет, то пойду в справочное бюро и там получу окончательный ответ.

Скучающий без тебя Валера Шапошников.

* * *

Девочка моя, девочка! Ты так напоминаешь мне мою маму, когда ей было всего восемь лет, а меня еще не было на свете! Поэтому я так и люблю тебя. Теперь у меня нет моей мамы (на днях похоронил, т.е. сжег старушку), у меня у самого теперь подгибаются колени, и руки дрожат от возраста, но подари мне одну ночь, всего одну ночь!! Я совсем изошелся слезами, и особенно сейчас, после похорон, мне хочется юркнуть к тебе, моя светлая девочка, под одеялко, прижаться к твоим голым коленям, чтобы обогреть твоим теплом мою одинокую старость. Пусть я шепеляв, пусть из носа течет, зато у меня есть душа. Пусти меня к тебе, моя светлая девочка!

А я плачу. Не могу забыть глаза мамусеньки во

гробе. По ночам снятся кошмары. Будто гроб этот ожил, а мамусеньки – нет. И будто потом этот гроб, походив по комнате, превратился в мамусеньку, а мамусенька – в гроб. И я сначала было потерялся, где гроб, где мамусенька. А потом отличил. И что потом мамусенька эта моя, которая есть гроб, превратилась в тебя, моя светлая девочка. Хи-хи.

...Мне так хочется к тебе, моя детка. Весь дрожу, ноги трясутся, жду ответа.

Целую тебя в ручку.

Вечно помнящий о тебе и своей мамусеньке
доктор наук Соболев.

* * *

Катя! все, что нужно для тебя – сделал. В академию больше не звони. Отсылаю тебе твои письма. Мне – какую. Все.

Твой Владислав.

* * *

Катенька! Мамуля моя! Пыс-пыс-пыс! Надьсь ты говорила, что ежели тебе выходить замуж, то только за мене. Я наизусть помню твои слова. Пыс-пыс-пыс!! Катенька, мумуля моя!! Корова у нас поутру отелилась, и солнце пригрело. Приезжай. Пыс-пыс-пыс! Я очень любил нашу коровку и ухаживал за ей. Но тебя я буду любить еще больше. Коровка у нас покойная, тихая, и теленок у ей, наверное, от мене. Приезжай. Мы оба его будем целовать. А потом, ежели на то будет судьба, то и своего теленочка родим. Ему с братцем хорошо будет на наших полях и лужайках. А еще кур у нас много. И дров. Мамуля моя!! Зимой

тепло на печке, не то что в хлеву. Помнишь, как мы пригрелись? Мамуля моя!

Пыс-пыс-пыс.

Аким.

* * *

Катя! Конец. Без тебя – нет жизни. Прощай.

Толя.

* * *

Катенька! Совсем ослаб, от тебя вестей не дождался; хирею, голубчик ты мой, без твою поцелуя; пиджак совсем затерся, в нутре пусто, и клопы падают из ушей, когда встряхиваюсь; на дворе снег; ботинки продырявились, и боюсь выйти на улицу: мокро, пожалей меня, ведь мне всего двадцать три года, а чувствую себя старичком; в боку болит, и слезы капают, как гляну на твой портрет. Пожалей меня. На работу меня не берут: говорят плох, и даже маменька от меня ушла. Вся надежда на тебя, на мою ласковую, жалостливую. Если б не твоя жалостливость, я бы к тебе так не привязался и не надеялся. А поутру еще подхватил насморк: сопли так и текут вместе со слезами. Вся голова – в полотенцах. Кот и тот на меня не смотрит. А кошка тая, которая тебя видела, когда ты у меня гостила, очень по тебе скучала и позавчера от тоски по тебе издохла. Я ее похоронил в огороде, рядом с капустой. И весь вечер там простоял, под осенним ветром.

Катенька! Если не вернешься ко мне, то и я, наверное, издохну, как эта кошка. И даже крест мне не поставят на могилу.

Все тело чешется, так и зудит, а в мыслях – ты и ты...

До последнего вздоха твой,

несчастный Алеша.

* * *

Катя! Катенька! Скоро, скоро я уйду туда, где можно любить одного Бога, а не тебя. Бога, которого мы никогда не познаем, как будто любовь к Нему – только скольжение по Его тени. Как холодно! Но я помню, помню тот вечер – я лежал полумертвый, и кровь у меня шла из горла, и дышать было нечем, и я звал на помощь, а ты сидела в соседней комнате, хохотала и целовалась с этим чучелом. Я, помню, говорил тогда, звал: "Катя, Катенька, мне совсем, совсем плохо... Любимая моя, приди..." Свой собственный голос казался мне странным и оторванным от меня самого. Точно я разговаривал со своим прошлым нечеловеческим транс-воплощением. Потом дверь открылась, и показалось это чучело, которое поклонилось мне и затем подмигнуло. А за его спиной – хохотала ты. Хохотала куда-то ввысь, не замечая нас. Катя, Катя, что ты тогда делала?!

Любимая, ответь. Почему ты ничего не говорила мне об этом существе раньше и почему оно повесилось у меня в прихожей?! Как потом испугалась моя бедная, маленькая сестренка!! Почему у тебя последнее время стала такая прозрачная кожа, точно ты уходишь на тот свет, в то же время оставаясь здесь?! Катя, Катенька! Почему у этого существа было столько галош, откуда он их взял? Мне потом пришлось, больному, с кровохарканьем, укладывать их в большой мешок и уносить в утиль-сырье. Только

мне и забот перед смертью, что разносить га-лоши.

Как светит солнце в окно. Как быстро пронес-лась жизнь! Хоть бы поцеловать перед концом свое предыдущее воплощение! Может быть, в нем я прожил лучшую жизнь. Катюша! Катюша! Ну скажи, скажи, что по-настоящему ты любила только меня, только меня. Приди, приди ко мне – приди абсолютно, сверху, приди перед моей смертью. Я чувствую, что от этого зависит моя будущая жизнь.

Михаил.

* * *

Катя, прощай!!!

Виктор.

* * *

Иногда девушка просматривала эти письма, почти не читая их. И только, когда уходила, наглухо за-крепляла фортку, словно опасаясь, чтобы кто-нибудь не вылетел в окно за время ее отсутствия.

ТЕТРАДЬ ИНДИВИДУАЛИСТА

Эту старую, драную тетрадь нашел около помойки Иван Ильич Пузанков, сторож. Он хотел было обер-нуть в нее селедку, но по пьяному делу начал ее читать. Прочитав несколько страниц, он ахнул, решив, что у него белая горячка. Его напугало боль-

ше всего то, что ему – значит – нельзя дальше пить, а до литра водки он не добрал еще 200 грамм. Но гневно рассудив, что мы, пьющие, еще никогда не отступали, Иван Ильич пополз все-таки в ближайшую пивную. Там он продал эту невероятную тетрадь за полкружки пива и кильку одному озирающемуся, болезненному интеллигенту, который и сохранил ее в паутинах и недоступности.

Тетрадь индивидуалиста

Поганенький я все-таки человечешко. И еще более поганенький, что пишу об этом – любя; клянц себе – негодяюшко, маразматик, ушки надрать мало – а все-таки люблю! И как люблю! По-небесному.

Но все же это подло, так любить себя... Особенно после того, что было... А что было, что было! И началось ведь все с того, что любил я не себя, а – ее... Как это удивительно – любить другого человека. На душонке, не обремененной тяжестью и страхами эгоизма, так легко, легко и чувствуешь себя как-то по благородному. Я бы всем влюбленным давал звание дворянина. Была она девица на вполне высоком уровне: в меру инфернальна, поэтична и страдала лунатизмом. Любил я ее страстно, но больше все как-то по-грустному. Бывало, прижму ее к себе, смотрю в ее глазенки таким сумасшедше-проникновенным взглядом, а она плачет. Плачет оттого, что уж очень выражение глаз моих было не от мира сего. А все, что не от мира сего, вызывало ручьи ее слез. И плакала она тоже не как все, а по-нездешнему, плакала не слезами, а мыслями; задумается, унесется куда-нибудь, и слезы падают просто в такт ее отчаянным мыслям.

Очень нервна была. Впрочем, мне только этого и надо было. По ночам я целовал ее одинокие, холодные ноги и нашептывал кошмары. Гладил ее прозрачную, тоже не от мира сего в своей нежности, кожу, впивался в ее плоть... и бормотал, бормотал... о страхах, о великом отчаянии жить среди людей, о смерти. Весь медовый месяц я рассказывал ей о смерти. Метафизично рассказывал, с безднотками, с жутковатыми паузами, когда все замирало; и визгливо валяясь в ее прекрасных, обнаженных, неприступно-мистичных ногах, выл, умоляя ее защитить меня от страхов, от жизни, от гибели... Бедненькая, как это все она выносила!

Весь гной, все параноидные язвы душонки моей перед ее глазами разворачивал, с упоением, с визгом, надрывом. Это и называл истинной любовью. Так и любили мы друг друга, целыми днями скитаясь по нашим запертым комнатам наедине с кошмаром и темным молчаливым небом, глядящим на нас в окна.

Зина чаще молчала, и все больше в себя впитывала. Я же подвизгивал, смотрел на нее и строил миры. Миров моих она боялась и, кажется, плакала от них. Впрочем, по-своему шизоидна она была необыкновенно и могла простую, пустейшую фразу так обыграть, что построить из нее "мир", уйти в него и спрятаться. Но до меня ей было далеко, не хватало полета-с! Так и глядели мы, одинокие, растрепанные, из своих миров друг на друга и пели потайные сказки... На нервах все было, на нервах!

Вы думаете мы не расписались в ЗАГСе, не оформились, не зачлись? ...Если я мистик, так уж, значит, ничего этого и не было?.. Было, было, все было. И ЗАГС, и идиотическая свадьба с идиотическими родственниками и салат с картошкой, и даже "горь-

ко”... Впрочем, у меня было такое ощущение, что женят не меня, а кого-то другого... Какое я имел отношение ко всем ним... И моя невеста казалась мне сказочным существом, спустившимся с небесной обители, а вокруг нас одни свиньи, кабаны и ублюдки... Так что от свадьбы у меня осталось впечатление одного хрюканья. Я сразу же возненавидел ее родителей, возненавидел лютой ненавистью, именно за то, что эти твари через мою Зину осмелились стать со мною наравне.

Должен сказать, что больше всего на свете я не терплю обыкновенных людей, каких 90 процентов на земле. Я готов биться об заклад, что любой убийца, дегенерат, алкоголик – лучше и возвышенней среднего человека... У преступника в душонке может быть и покаяние, и страх, и на лбу потик от чувствительности выступает, а вот у обычного человека даже этого ничего нет – он говорящая машина, антидуховен, патологически туп, и считается, что обладает здравым смыслом. Но по сравнению с ним любой олигофрен с субъективинкой – мыслитель. Посмотрите в глаза среднему человеку; что в нем увидишь: навсегда замкнутый в своей звериной тупости цикл мыслей и полное отсутствие высших эмоций. Что является первым в иерархии ценностей для среднего человека: вещь, материя, деньги, а не мысль, и не чувство и даже не гаденькое покаяньице...

А почему так? Да потому, что обыкновенный человек слишком туп, чтобы воспринимать духовное и чтобы утвердить себя, вынужден хвататься за внешнее и видеть высшую ценность в чем-либо вещественном или, что еще хуже, – в какой-нибудь умственной глупости, если обычный человек вдруг взялся за идеи.

Семейка ее как раз была в этом обычном плане. Братец ее был даже личностью в своем роде патологической. Очень замкнутый, скарредный молодой человек, он отказывал себе во всем, лишь бы скопить деньги. Я помню, как вечером, откушав корочку черного хлеба с луковицей, он полез в чемодан, вытащил оттуда огромную пачку денег и, истерично поглаживая ее, обслюнявив, прижал к сердцу и пробормотал: "Только с ними я чувствую себя интеллигентом".

Деньги ему нужны были не для того, чтобы их тратить, а чтобы чувствовать себя человеком, самоценной личностью, и выше их он ничего в жизни не ставил. Однажды он всерьез, по-нервному заболел, когда где-то услышал, что Черчилль читал Шекспира.

"Как может великий человек заниматься такой ерундой", – заявил он, побледнев. Для него это была психологическая катастрофа.

В стихи, в живопись, в религию он просто не верил, а считал, что все это выдуманно. Он был искренне убежден, что люди не только не верят, но и никогда не верили в Бога, и что такого человека, который верил бы в Бога, в идеализм, в стихи, вообще не было, а то, что об этом написано в книжках – одна пропаганда.

– Как можно видимое предпочесть невидимому, – говорил он.

Родители его – солидные инженеры – были так же глупы, но не столь патологичны.

Первоначально, еще в период ухаживаний за Зиной, держался я с ними тихо и потайно, так что они принимали меня просто за чересчур скромного и молчаливого, а в общем достаточно приятного молодого человека. Поэтому и не возражали против брака. Но

уже через два дня после свадьбы я развернулся. Жили мы сначала у нее, так что все было на виду. Принцип мой был таков: делать все по-своему, но на словах ничего не возражать, а наоборот со всем соглашаться и показывать внешне, что веду себя по-ихнему. Это была необходимость: я органически не мог с ними не только спорить, но и разговаривать. Я чувствовал себя униженным, смятым, приравненным к чему-то идиотскому, ненужному и вещественному уже оттого, что сижу с ними за одним столом и вынужден их выслушивать. Все мои нервы болели.

”Саша (так зовут меня), Саша говорит, что он страсть как любит домовитость и будет помогать нам ухаживать за дачей”, – кричала на всю кухню мамаша Зиночки.

А я каждую субботу уваливал от общения с ними и предпочитал уйти в свой мир. А мирочки свои ведь я обожал, упивался ими, и они были для меня такими же близкими и родными, как и мое тело... И я варился в их соку, как в собственной крови, и не любил, чтобы их касались...

Но родители меня быстро раскусили. Помню одинокие вечерние чаи, когда все семейство было в сборе. Застывшая лампа с синим абажуром казалась мудрой и индивидуальной по сравнению с этими обычными, ничуть не хуже других, людьми, сидящими за столом.

Пока я с ними ни о чем не говорил, я чувствовал в душе непередаваемую тонкость и нежность. Мои мысли казались мне потусторонне-сентиментальными и воскресающими мертвых...

– Саша, почему ты не поедешь на дачу, не купишь котлет, не выучишь стихи, – осторожно спрашивает меня Зиночкина мамаша.

– Я обязательно сделаю все это в субботу, – невозмутимо и покойненько отвечаю я.

А внутри начинаю заболеть оттого, что они смотрят на меня, как на равного человека.

”Почему они не чувствуют моей необычайности, – думаю я. – Может быть я обычен?! Действительно, когда я им отвечаю, я становлюсь обычным. Это ужасно”.

– Но ты каждый раз обещаешь нам все делать в субботу, – равномерно говорит мамаша Зиночки. – И так уже четыре месяца. И ничего не делаешь.

Ее глаза влажнеют от злости. У отца такой вид, как будто ему снится, что он на официальном приеме. Я молчу. Их поражает моя потусторонность. Они не могут определить ее словом, теряются в догадках, но что-то смутное чувствуют. Это им кажется таким страшным, что брат Зины роняет на пол ломоть хлеба.

– Может, ты думаешь, что ты умнее нас? – холодно спрашивает меня мать.

Я опять отвечаю какой-нибудь вздор, и от этого вся ситуация становится еще загробней.

– Может быть, ты что-нибудь скажешь ему? – спрашивают мою Зину.

Но на ее глазах появляются защитные слезы...

И таких вечерочков было не мало.

Бедная Зиночка – она как зверек любила своих родителей – металась между мной и ними. Днем мне было трудно ею управлять (они запутывали ее здравым смыслом), но по ночам и когда мы оставались *fete-a-tete*, я был царь над ней. Тут уж действовали мои миры. В конце концов, чтобы отгородиться от родителей, я решил отвечать им на все вопросы своими выдуманнами словами, чтоб они ничего не поняли и ужаснулись. ”Кольцом инакоречия самоотгрожусь

от внешних болванов”, – хихикнуло тогда у меня в уме.

Если теперь они допытывались у меня, люблю ли я Зиночку, я отвечал: ”дав-тяв-гав-сяв”. Если они, например, спрашивали, почему я не почитаю модного актера, я отвечал: ”брэк-тэк-халек”. Если они сердились и психовали, вспоминая мое мнение, что луна внутри пустая, я отвечал односложно: ”му”. На каждый вопрос я реагировал по-разному.

Самое забавное: они решили, что я хулиганю. Дальше так продолжаться не могло, и я навизжал по ночам Зиночке, что мы переедем ко мне. Она отлично понимала мою политику и считала, что я еще милостиво обошелся с ее родными. Ей было страшно переезжать в мои грязные, одинокие, заставленные доисторической мебелью, какие-то оторванные от этой жизни комнаты. Но она знала, что найдет там нежность. Нежность, от которой мутнеет ум и которая, может быть, даже превращается в мучительство, в истязание; нежность, которая повисла над бездной страха... Мы переехали в мою квартиру...

Там мне уж совсем стало хорошо, покойненько так, оторванно... И развернулся я перед своей женушкой уже по-настоящему, взаправдашно, до конца... ”Отъединенности, отъединенности”, – визжал я в ее ушко по ночам. А ей тут же снились кошмары. Я очень любил наблюдать, как ей они снятся. Чутьишко у меня в этом отношении было необычайное; как только кошмарик ей во сне представится, я тут как тут – проснусь сладенько, поскачу на кровати, но ее не бужу, а свечечку (специально у меня была в тумбочке припасена) зажгу и тихохонько на ее личико наслаждаюсь. Выразительное было очень личико; белое, нежное, оно легко содрогалось, как

будто змеи там под кожей ползали. Страшно ей, видно, было... Потом, когда все кончалось, я будил Зину и, нашептывая переходы, тайные мечты, разжигая в ней патологическую жалость к самой себе, неистово брал ее.

В агонии, в драме полового акта искал я выход и убежище от Властных Сил, создавших нас не по нашей воле. За все эти минуты мысли мои и слова, обращенные к Зине, были творениями Духа в самой потайности его и подло-оголенной интимности.

”Сплетенности, сплетенности”, – визжал я теперь в ее ушко. В нарастающем визге полового акта заставлял я видеть ее и всю человеческую жизнь, обреченную и хрупкую, как сперма, гаденькую, маразматическую, с ее взлетом, сладострастным цеплянием за наслажденьице, и падением в ничто. Я заставлял ее представлять, что пот сладострастия – предсмертный пот и что истомленный конец полового акта – это и есть символический конец нашей человеческой жизни, жизни, такой же гаденько-родной и обреченной на быструю гибель, как извержение семени.

В конце концов она доходила до того, что болезненно-нежно целовала остатки разбрызганной моей спермы, бормоча, что это слезы расколотой жизни. ”Упьюсь, упьюсь”, – надрывно стонала она.

И все эти акты я заставлял ее совершать в глубоком подполье, при свечах, под одеялом, как что-то глубоко-подленькое, родное и неотказное...

Вы думаете, когда мы не дрожали в физической дрожи, а были в покойненько-удовлетворенном, духовном состояньице, мы меньше маразмировали?! Ничуть. Только по-своему. Ведь состояньице было тихое, умственное, как будто у нас не было тел.

Тел-то не было, зато глазенки были... Плакала она

много, конечно. Металась по моим одиноким, шизофреническим комнатам, где каждое пятно пугало ее и казалось миром. Морил я ее также голодом. Голод ведь вообще усиливает потусторонность и хрупкость тела; вызывает потоки причудливых сублимаций, чудесных желаний. Ведь интеллигентный человек никогда не признается себе, что хочет есть, а подумает: чего-то мне не хватает, непонятного и таинственного. Таким образом я и будировал ее высшие качества. Духовности, духовности – я хотел как можно больше духовности.

Другой мой способ заключался в том, что я разжигал у нее страх перед смертью; я сам до патологичности, до судорог боюсь смерти и считаю, что Творец должен еще передо мной ответ на коленях держать за то, что я так гнойно смертен и каждую минуту – хотя бы теоретически – могу умереть.

Ну-с, а тут были пустяковые болезни, у меня и у нее, так что почва для страхов была прямо-таки благодатная.

Нежно подольстившись к ней в смятенном полумраке нашей комнаты, я целовал ее левую, пухленько-родненькую грудку с умильной родинкой – место, которое она сама очень любила в себе и на которое не могла без слез смотреть в зеркале – и говорил: "Это умрет". Прильнув губами к ее блаженному горлу, пришептывал: "И это умрет". А заглянув – надрывно заглянув, мистически – в ее чистые, бездонные глаза, произносил: "И то, что там, за этими глазками, тоже – умрет"... И она понимала, что душонка умрет, бедная, нежная и затерянная, как маленькая лодка в глухом лесном пруду. Постоянным подчеркиванием реальности и в то же время ужаса, абсурдности смерти, как окончательного

конца "я", при одновременном аккуратном разжигании безудержной любви к этому своему обреченному "я" – доводил я ее до дикого состояния, подобно тому, когда снится, что тебя держат за руку, а ты не можешь проснуться и никогда не проснешься. Под конец, при мысли о смерти, точно подстегиваемая страхом, она начинала бросаться посудой, стонать и лезть на стены, особенно когда я, томимый ужасом перед гибелью, одиноко, не требуя ни на что ответа, забивался в темный, паутинный угол и плача целовал свои руки и ноги.

Маленькая, как это она все мне прощала. От нежности, конечно, прощала, я уже говорил, от нежности. Вы ведь понимаете, что среди всего этого мрака, патологического ужаса и шараханья мыслей была неземная, болезненная нить нежности. Нежности, которая соединяет двух людей в смертной камере. Нежности во взгляде человека, которого ведут по улицам на гильотину и который видит среди толпы Ее – которая могла бы быть его Единственной и которая не знает и никогда не узнает об этом. И наконец, нежности, с которой мать дает яд своему сыну, чтобы спасти его душу от смертоносного греха и дать ему Царствие Небесное.

Так протекали наши дни, но ведь не все измеряют свою жизнь днями – для меня это был единый духовный порыв, бесконечный ветер, устремленный в Неизвестность.

Понимала ли она меня? Что было в ее глазах, ослабленных легким безумием? Она была для меня то, что я о ней думал, но что думала она обо мне?

Но я всем потом своим, всеми неврастенично-гнойными ранками душонки своей, перепачканными идеальностью, любил и жалел ее, видя в ней живе-

хонький, маленький клочочек своего "я", обиженный, задерганный и одетый в эстетически-женскую форму. Поглаживая ее властительно-белую кожу на бедре (и тихо маразмируя при этом), я точно гладил собственное сердце. Мне было так приятно видеть себя во вне себя и в то же время хотелось пожрать этот комочек моего "я", вобрать его в себя.

Но – и здесь открывался последний акт драмы наших отношений – чем больше я желал вобрать ее в себя, сделать своей, как обнаруживал, что наткнулся на что-то твердое, непроницаемое для меня, какое-то чужое духовное ядрышко. Это было нечно враждебное, упругое, какое-то "не-я", от которого я отталкивался и уходил в себя.

Постепенно, сначала только в некоторые дни, я, точно очнувшись от творческого вихря любви, с ужасом стал смотреть на нее другими глазами.

В ее странной склонности к домашнему уюту и в стремлении к обеспеченности я вдруг усмотрел материализм. Я и сам не отказывался от этого, но мне показалось, что она придает внешнему не последнее значение. Выявилось также, что очень многое, я не мог ей высказать, и многие, многие потаенно-безумные мыслишки мои звучали гораздо космичнее в чистом Одиночестве моей души.

Зина тонко уловила мое остывание и сначала почувствовала облегчение: я уже не так мучил ее. Она стала по-детски радостней, как бабочка, выпорхнувшая из мрака. И еще больше привязалась ко мне, в благодарность за покой. Было что-то странное и дико-фантастическое в том, как среди загробности наших комнат, среди заброшенности наших шкафов и кресел, хранящих слезы моих снов и падений, щебетал ее оживленный, идиотически-радостный голосок,

словно она только что спаслась от бездны в самой себе и в любимом.

Да, первое время мое молчание – страшный призрак конца любви – точно воскресило ее... Бедненькая... Как ей хотелось элементарной человеческой радости, теплоты и животности... Зачем же тогда она полюбила меня?..

Все чаще атрибутом наших отношений стало не холодеющее заглядывание друг в друга, в пузатенький чайечек, и, хотя весело-уютный чайник в нашей обстановке выглядел слегка с сумасшедшинкой, Зиночка и этим была довольна. Увы – ее счастье продолжалось не долго. Она с ужасом начала чувствовать, что вместе с уходом кошмаров и видений, ухожу от нее и я – я, которого она так любила – и что расплатой за здравый смысл становится конец любви. Тогда она страшно, по-истерически заволновалась. Помню одинокие, непонятно-оторванные от окружающего мира дни, когда мы сидели вдвоем в наших комнатах в чистом, дневном свете, который разъединял нас теперь больше, чем самый глубокий мрак; она металась по комнатам и выла: "Саша, Саша, где ты?" А я, одиноко приютившись рядом с ней в кресле, у окна, отвечал: "Я ушел в свой мир".

На ее глаза навертывались большие, точно разорванные слезы, но я холодно и жутко молчал: в отрешенно-живительном круге моего Одиночества мой мирок становился и глубже, и роднее, и потаеннее, и слаще, чем когда я выносил его на свет.

С каждым днем я уходил все дальше и дальше от нее и от поверхности жизни; это можно было сравнить с невидимым полетом, ездой куда-то вглубь; сначала еще видны легкие и дымные очертания действительности; потом, по мере ускорения движения, они

мелькают все чаще и чаще, пока, наконец, не сливаются в одну далекую, безразличную черту тумана... Где мир, где Зина?!. Она стала казаться мне совсем обычной, простой и понятной; я ловил себя на том, что не видел различия между ней и деревом, глядящим на нас в окно.

Вместе с потерей к ней духовного интереса, я терял интерес и к ее плоти; ее тело стало казаться мне страшным: оно было – по воспоминаниям – и родное, и близкое, и в то же время становилось далеким. Вечерами в спутанном мирочке наших комнат, в разгар моих бдений, продолжающихся по инерции, я, похлопывая по ее оголенной, прозрачно-белой спине, часто вдруг недоумевал: не по стенке ли я хлопаю. Ее тело уходило от меня в призрачную даль не моего мира.

Стараясь физически возбудиться, я визжал: "Таинственности, таинственности, побольше таинственности", – и клал ее тело, перед тем как брать, в различные дикие, нелепые положения; тайны – вот еще чего мне не хватало.

Видя, что со мной уже невозможно наладить духовный контакт, Зиночка впала в какую-то слабоумную решительность; иногда в отчаянном, лживом бреде поцелуев, она вдруг начинала кусать меня, полоумно и настойчиво, как будто желала прокусить мою внешнюю оболочку и заглянуть в душу. Кусается, а глазенки заволокутся быстрыми, бегающими слезами. Ведь все понимает.

Или вдруг начнет бормотать про себя стихи, перемешанные со своими нелепыми мыслями, да так загаллюцинирует себя, как будто вся пропасть стоит перед ослабевшими глазами.

Такая жалкая, обреченно-оторванная, вся обра-

щенная в себя, в свои мучения, она опять сладостно-тревожно возбуждала меня; мне казалось, что снова в ней проснулась духовность, и я радостно впивался в ее исчезающее, нежное плечо.

Но это были только истеричные взвизги, лишь оттенявшие ужас истины.

Я уже чувствовал, что отношусь к ней, как к вещи, как к чашке, которую можно разбить, и не повешельнется в сердце.

Тупой холод был у меня в душе.

В конце концов я стал невыносимо груб с ней; наши связи жестоко и примитивно рвались; я уже просто орал на нее и только что разве не бил; она совсем отупела от страданий и плыла по течению. Не порывая полностью, но и не сближаясь с ней, я прямо закоснел в своем эгоизме и ничего для нее не делал.

Но чем более я был груб по отношению к ней, тем более нежен по отношению к себе... Нежность эта доходила до такой степени, что я стремился порвать со всем, что меня окружало, и непередаваемо жалел себя.

Часто, судорожно уединившись в своей комнате, я сидел у плотной занавеси окна и, чуть закрыв глаза, сочинял рассказы. Но в моей руке – в моей белоснежной, тонкой рученьке – не было пера: эти чудесные, таинственные, полусозданные творения я сочинял про себя, в замираниях, в запретном храме моей души, в полусне, не задерживая свои мысли для черновой работы, потому что понимал себя с полуслова. Я ненавидел бумагу, читателей, перо, буквы, моих друзей и моих врагов – и поэтому ничего не записывал, уединенно храня все в изгибах моего чистого ”я”... Я сладострастно наслаждался тем, что никто, кроме меня, не услышит моих рассказов.

Разыгрывались изломанно-шизофранные сцены. Зиночка визжала и плакала, что значит она – дура, если я не хочу с ней разговаривать. Родители стучали стульями и ходили в милицию. А я строил миры. Качался легкий свет в наших комнатах, приходили и уходили чьи-то тупые рыла, мое бедное сердечко сочиняло небывалые чувства. Мне было так лучше, так непонятно странно лучше. Мой мир рос по мере того, как я оставался один.

Зиночка уже частенько уходила от меня к себе домой, но зато по ночам ко мне стал приходиться новый, непонятный, ошеломивший меня гость. Называл я его почему-то Юрий Аркадьевич. Тихонько так приходил, по-нездешнему.

Бывало, ночью под потным, пропитанным мыслями одеялом, лежу я и чувствую только сладкое бытие – одиночество моего тела. А в коридоре, ровно во втором часу ночи, уже шаги – тихие такие, мистичные, как движение маятника. В душонке моей – в ответ – щемящее, щемящее чувство, как будто идет издалека ко мне любимая... Очень боялся его спугнуть. Тих уж он очень, и не отсюда. Отряхнет пыль со стула, подушечку для мягкости положит и сядет. Я молчу. И такое в моем мозгу просветление, как будто не существует ни Англии, ни луны, ни Зиночки, а существуем только мы с Юрием Аркадьевичем. Полное отсутствие всякой внешности. Кругом одно только внутреннее, настоящее. Как на том свете.

Юрий Аркадьевич помолчит, помолчит сначала, отрешенно себе и метафизически. Личико далекое-далекое, как у сейджей^{*} и на ручки свои – нежненькие,

* Сейдж – восточный мудрец.

беленькие – так мистически – молча смотрит и поглаживает их, блаженно, легко и недоступно для смертных. Очень, наверное, в себя влюблены были. Потом мы беседовали. Больше он говорил, а я с замиранием слушал.

– Плохо, плохо работаете, Сашенька, – укорял он меня. – Маниакальности мало. И отрешенности. На путях вы еще только к Богу-с.

– К какому Богу, Юрий Аркадьевич? – робко спрашивал я.

– К внутреннему. Солипсическому. Который только в нашем ”я” кроется и больше нигде. Потому что ничего, кроме высшего ”я”, нет, – блаженно улыбался Юрий Аркадьевич. – И должны мы, Сашенька, этого Бога открыть и постепенно им становиться.

– А вы подтолкните меня, Юрий Аркадьевич, – сгорал я. – Подтолкните, к этому Богу-с.

– Яйности, яйности побольше, – строго отвечал он. – Вы еще не открыли в себе бессмертное начало, вы не Творец и не хозяин своего мира, а просто прячетесь в него... Поэтому он у вас такой ранимый и неустойчивый. Это еще не мир, а только начало-с, капля-с... И плюньте, пожалуйста, в рожу всему человечеству. Плюньте по-серьезному, добросовестно.

Очень быстро Юрий Аркадьевич исчезали. Подавлял он прямо меня своей излученностью и солипсизмом. Чувствовалось, что они уже все грани перешли.

А я и в самом деле понимал, что многого и качественного я еще не достиг, и Юрий Аркадьевич недаром меня к новым горизонтам подхлестывали. Слаб я еще был, юн, нервен и слишком зависел от внешней среды.

Иногда, чтобы отвлечься от солипсоидно-ослепи-

тельной истины Юрия Аркадьевича, я задавал себе глупейший вопрос: "Кто он?" Не по существу, конечно, – я это прекрасно знал – а по видимости? В "галлюцинативно-бредовом" он плане или в так называемом "реальном"? Если в "галлюцинативно-бредовом", то я бы его совсем уважил и, появившись он снова, в ножки ему поклонился, упал-с. Потому что значит – они оттуда явились.

Но он мог быть и в "реальном" плане, так как в наркотично-эйфорическом состоянии я часто, забывая обо всем, говорю с прохожими на улицах и иногда дарю им свои ключи. Потом ничего не помню. Среди них мог оказаться и Он.

Кроме того, однажды видел я Юрия Аркадьевича в магазине, в очереди за галошами. Терпеливо так стоял, тихо, как все, точно скрывался. И солипсического сияния вокруг головки никому не показывал, хитрец.

Но это тоже могла быть "галлюцинация". В конце концов я решил, что "галлюцинативно-бредовый" план и так называемый "реальный" – почти одно и то же, и глупо их отличать.

Зиночка от меня, кажется, совсем ушла. Потому что Юрий Аркадьевич ее сильно напугали. Во время одного из его визитов она ночевала в смежной комнате, все слышала и раза два-три дико закричала.

У меня же от посещений Юрия Аркадьевича оставалась некоторая грусть: тоскливо мне было, что еще только на путях я к внутреннему Богу, что слаб я еще, визглив и слишком верю в реальность окружающего; чувствовал, что настоящее, кондовое – у меня еще впереди, а покамест одни цветочки.

Юрий Аркадьевич тоже прекрасно это видели и, не

торопя события, стали очень и очень редко меня посещать.

Жизнь между тем по-прежнему терзала меня; я уже почти не мог появляться на улице; редко выходил на кухню, в коридор; я чувствовал большое унижение, от того что вынужден общаться с людьми, быть с ними в метро, просто стоять около них. Вид города, автобусов, светлых фонарей унижал меня. "Весь" мир должен припасть к моим галошам, а не существовать сам по себе", – выл я истерически мыслями, лаская свою душу.

"Почему все не замечают, как я велик", – злобно взвизгнул я один раз в подушку. Юрий Аркадьевич – хорошо помню – сразу тут как тут появились.

– Вымаливаете вы у мира признания, молодой человек, – сердито сказал он. – Ну как можно вымаливать признание у того, что само нуждается в вашем признании. Не вы у мира, а мир у вас должен вымаливать право на реальность.

Умом я его уже тогда понимал, но до шкуры моей – нежной, изрубцованной окружающими меня людьми – эти великолепные идеи еще не доходили.

И бегал я, и скулил, и в небесах парил, и грозился – но тяжело мне все-таки было.

Однако вскоре появилась у меня отрада. Как я раньше об этом не вспомнил – ума не приложу. Речь идет о гробиках и покойничках. Начну с того, что смерть вошла в мою душу вместе с первым поцелуем матери. Причем смерть жестокая, "атеистическая" – обрыв в ничто.

В детских снах своих, в ужасах, в исковерканных очертаниях предметов в темноте – видел я это невысказанное, все отрицающее ничто.

Потненьким, дрожащим своим тельцем и бьющей-

ся жалкой, родной жилочкой – самосознанием своим – ощущал я разлитое во всем мире, от исчезающих звезд до придавленных мух, холодное неотразимое, знающее свой черед, подкарауливающее ничто.

Казалось, что если после смерти, хоть раз в миллион лет, хоть на одну минуточку, выглянуть опять на каком-нибудь свете, ощутить свое "я" – то уже этим уничтожится этот безграничный ужас холодной вечности полного отрицания. Ведь никогда, никогда меня уже не будет.

Много было потом теорий, книг, диссертаций, как будто бы победоносно и навсегда освобождающих от этого тупого кошмара, но – забудьте! – такое представление о смерти впустили в наши души вместе с первым поцелуем матери, вместе с первым утренним светом, – с детства. И поэтому в глубине души оно жило во мне как жуткое притаившееся чудовище.

Однако это только одна сторона. Ведь смерть-то была хоть и атеистическая, но все-таки тайна. Тайну они не смогли убить. И поэтому с детства в душонке моей жило молитвенное благоговение и трепет перед застывшим лицом мертвеца.

Никаких сказок, никаких песен мне не нужно было, только бы смотреть на покойничков.

И тот глубокий ужас перед ничто уходил куда-то в сторону и, наоборот, сознание гибели лишь возбуждало ощущение тайны. Облегчалось это тем, что видел ведь я не себя мертвым, а чужих, в то время как тот ужас перед ничто возникал всегда впотьмах, в одиночестве.

Вот эта-то сторона смерти и захватила меня сейчас по-серьезному, до кишок.

Жизнь была настолько мрачна своей безысходностью и материализмом, своей животной тупостью и

ясностью, что Смерть – единственная, видимая и ощущаемая всеми, Великая Тайна, причем тайна, бьющая по зубам – являлась настоящим оазисом среди этого потока декретов, овсяной крупы, телевизоров и непробиваемой ”логики”.

В наблюдении за смертью было что-то глубоко интимное, мистичное, что я мог сделать своим, принадлежащим только мне... Одним словом, сплелось тут воедино много комплексов: отрешенных и сладострастных, диких и затаенных...

Время шло уже к осени. Облюбовал я себе грязенькое, забрызганное кладбище на краю Москвы. Рядом стояла берущая за душу своей мистической обыденностью полустоловая – полупивная. Приходил я туда еще поутру – всегда с томлением: будут ли сейчас покойнички? Чтобы уточнить, перед тем как зайти в пивнушку, я звонил по телефону кладбищенскому начальству. Начальство – хмурый, полупьяненький старичок – неизменно узнавал мой голос и отвечал мне долго и назойливо, кто будет захоронен, в каком возрасте, отчего помер и где нашли точку для ямы. Он был убежден, что я интересуюсь этим из-за какого-нибудь важного, недоступного для его глупого ума дела. Поэтому он очень меня побаивался.

Получив благополучный ответ, я поначалу забивался в грязный, темнеющий угол столовой у низенького окошка, из которого видны были покосившиеся, готовые рухнуть, ворота погоста. Заказывал себе кружечку пива и 2-3 килечки. Закрывал глазки и отключался.

Миры входили в меня потихонечку, вместе с острыми каплями алкоголя, теплыми своими спонтанными мыслями и тихими далекими шагами приближающейся похоронной процессии. Первая фраза мо-

его духовного откровения проходила еще целиком в пивнушечке, в грязной теплоте, в ожидании, среди мух, жующих рож и полупомешанных от сытости кошек.

Стук надвигающегося мертвеца я предчувствовал всей дрожью своей: и в душонку мою входила непонятная, замкнутая в себе, обреченная радость. Я вдруг начинал тупо хихикать, что я – вот де живой, а он мертвый.

Эта мысль необычайно, до нестерпимых высот поднимала самооценку, близость и блаженство моего бытия. Я тихохонько гладил свои колени, упивался своим существованием, и все вокруг: потолок, кошки, стулья, жирные бабы – казались мне мертвыми и неподвижными, окружившими своей бессмысленной, враждебной стеной сладостное, одинокое трепыхание моего "я" и плоти.

На вершине экстаза я так погружался в чистоту этой мысли, что чувствовал себя – и это было самое приятное – совсем слабоумным.

Я хихикал, обливал себя пивом, дергал кошек за хвост.

Потом начиналась следующая фаза. Умиленный, слегка пошатываясь от мыслей, я выходил навстречу похоронной процессии. Прежняя радость улетучивалась, и я теперь целиком отдавался порыву потусторонней тайны. Слегка подпрыгивая, я трусил за гробом. и мне всегда казалось, что хоронят какую-нибудь мою частицу: полноги, каплю моей душонки или просто палец.

Поэтому неподражаемо таинственный гробовой путь до ямы я ощущал как собственный болезненно-родной путь где-то в пространстве между нашим и загробным миром, когда душа уже отходит, но еще не

отошла. Душонка еще не может расстаться со снами, взвизгами, плачами и видениями этого мира, который принял сейчас, в момент расставания, какой-то иной, ирреальный смысл; и я совсем по-новому смотрел на высокие деревья по кладбищенским аллеям, шум ветра в которых превращался для меня в прощальные, неслыханные песни земного мира, открывающего свой скрытый лик только перед смертью; но издалека в эту же душонку уже входил черный, непонятный ритм – ритм загробной бездны.

Эта фаза кончалась у самой гробовой точки. Когда мертвеца ставили около ямы, я перво-наперво старался заглянуть в его лицо. Иногда в противовес великому и драматическому во мне просыпались хохотливые, идиотические силы. Мне вдруг хотелось плюнуть в лицо покойничка, иногда поднималось нелепое ожидание, что покойник вот-вот проснется и вскочит; я зажмуривал глаза и открывал: а вдруг скачет.

Но основным содержанием этой фазы была сама смерть и созерцание лица покойника.

Я упивался холодно-застывшими чертами мертвеца; мне казалось, что если я буду долго-долго до безумия вглядываться в его лицо, то сорву эту неподвижно-кошмарную, мертвую маску и увижу за ней разгадку жизни, разгадку самого себя. Сердце мое ёкало, природа вокруг принимала утонченную, болезненно-фантастическую форму; каждый кустик становился чертиком или Фаустом. Даже толстые, нелепые родственники около гроба казались многозначительными. Безгранично возносился я к Престолу Великой Тайны и в извилах дорог к ней еще с большей душераздирательностью любил себя, обреченного. После захоронения, бредя по молчаливым

тропинкам кладбища, визгливо припадал я с мольбой о жалости к зеленым деревцам, собачкам и ядреным нищим, попадающимся мне по пути.

Жалеют кого-нибудь оттого, что у него чего-нибудь нет: денег, ума или женщины. Но я был не о такой жалости; теплой, безумной, сексуально-маразматической жалости к своему чистому, обреченному "я", к своему дрожащему, погибельному бытию, такому родному и такому заброшенному перед лицом непонятного мира – такой неистовой, патологической жалости просил я; но деревца одиноко молчали в ответ, собаки лаяли и разбегались, а нищие крестились и шарахались в сторону... И я понял, что эту жалость я могу получить только от самого себя и что из этой жалости должно возникнуть что-то великое...

Так и живу я сейчас, пустынно и одиноко. Почти через день хожу на свое милое кладбище. Обедаю тут же, около тайны. Меня уже все здесь знают. Родственников очередных покойников предупреждают обо мне. Некоторые очень дружелюбны и после похорон угощают меня водкой; некоторые шарахаются; другие думают, что я шпик и отказываются хоронить.

Несколько раз бывали экстазы, когда я в слабоумном отупении, в вихре, уже за гранью миров, лез, расталкивая всех, целоваться с покойниками. Один старичок запустил тогда в меня галошей...

Зиночка раза два ко мне в кладбищенскую пивнушечку прибегала. Посмотрит, посмотрит, раскроет глаза, ахнет и убежит... Я с ней уже ни о чем не разговариваю...

...Зато Юрий Аркадьевич, – слава богам! –

опять стали меня посещать, теперь уже, правда, по утрам.

Подмигнул мне последний раз и, пристально так глядя, сказал: "А не кончается ли у вас, Сашенька, юность, и не пора ли вам отправляться в решающее, мистическое путешествие"...

...На этом обрывается тетрадь индивидуалиста.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие <i>Ю.М. Нагибина</i>	3
Макромир	10
Листик	13
Улет	18
Исчезновение	20
Борец за счастье	24
Свобода	27
Урок	30
Смерть рядом с нами	33
Когда заговорят?	43
Живая смерть	50
Голубой приход	62
Ваня Кирпичиков в ванне	68
Хозяин своего горла	74
Новые нравы	79
Последний знак Спивоэ	82
Жених	94
Серые дни	106
История енота	119
Изнанка Гогена	123
Утопи мою голову	145
Прикованность	159
Пальба	163
Упырь-психопат	166
Ковер-самолет	173
Отражение	180
Здравствуйте, друзья	187
Письма к Кате	190
Тетрадь индивидуалиста	199

Юрий Витальевич Мамлеев

УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ

Авторская редакция

Технический редактор **Н.М.Привезенцева**

Корректор **Л.И.Серова**

Оператор **Н.Н. Лемешева**

ИБ № 30

Сдано в набор 02.07.90. Подписано в печать 07.09.90. Формат 70x100 1/32. Гарнитура "Пресс-роман". Бумага офсетная, 70 г. Печать офсетная. Усл.печ.л. 9,1. Усл.кр.-отт. 9,13. Уч.-изд.л. 9,86. Тираж 100000 экз. Заказ №565 Цена 3 руб.

Оригинал-макет подготовлен в Объединении "Всесоюзный молодежный книжный центр" Государственного комитета СССР по печати. 101409, Москва, ГСП-4, К-6, Страстной бульвар, 5.

Отпечатано в Московской типографии № 4 Государственного комитета СССР по печати. 129041, Москва, Б.Переяславская ул., 46.



Юрий Мамлеев **УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ** рассказы